

Надежда Лухманова

ИЗБРАННОЕ



Книга в журнале

Составитель – Татьяна Левицкая

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Татьяна Левицкая. Неудобный человек</i>	6
Преступление (из жизни).....	15
Ляля	26
Варя Бронина	35
Винт	90
О положении незамужней дочери в семье	110

Татьяна Левицкая

НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я с детства ненавидела форму шара <...>
Позднее я стала ненавидеть круглых людей,
весёлых, ласковых, улыбающихся, всегда идущих
вам навстречу, осыпающихся вопросами и, в сущности,
не интересующихся ни вашей жизнью, ни вашей смертью,
если она не приносит личную пользу.

Н. А. Лухманова

Её жизнь напоминает приключенческий роман: неравный брак, скандальный развод, свадьба-преступление, жизнь в Сибири, побег из купеческой семьи, литературное признание, травля в печати, русско-японская война... Вторую половину жизни Н. А. Лухманова (1841–1907) всецело посвятила литературе — кажется, не было ни одного знакового события в её жизни, которому бы она не нашла художественного воплощения. Писательнице удалось проявить себя и в публицистике: она работала во многих из-

Татьяна Владимировна Левицкая — литературовед, кандидат филологических наук. Родилась в Москве (1987). Закончила Московский государственный лингвистический университет (2010), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2015), аспирантуру. Защитила кандидатскую диссертацию «Творческий путь Н. А. Лухмановой (1841–1907)» (2019). Основная область научных изысканий — творчество писателей рубежа XIX–XX веков, женская проза, гендерные исследования. Особое внимание уделяет писателям, выпавшим из литературной памяти, творчеству Н. А. Лухмановой.

даниях («Новое время», «Новости», «Петербургская газета», «Южный край» и др.), участвовала в громких полемиках, выступала с публичными лекциями («Причина вечной распри между мужчиной и женщиной», 1901, «Проституция и отношение к ней в обществе», 1903, «Недочёты жизни современной женщины», 1903, «Влияние новейшей литературы на современную молодёжь», 1903, «Японцы и их страна», 1904). Многочисленные оппоненты наперебой критиковали творчество писательницы, но она стойко переносила нападки и достойно отвечала обидчикам. Упорство и выдержка помогли ей не только сыграть значимую роль в литературной жизни рубежа XIX–XX вв., но и открыть новую сферу женской деятельности — Лухманова стала первой русской военной корреспонденткой. В 1904 г. с эшелонами Красного Креста писательница поехала на русско-японскую войну. Она писала статьи о работе сестёр милосердия, об экзотичном быте Маньчжурии, о казни хунхузлов, о раненых и убитых солдатах... Свои корреспонденции Лухманова публиковала в «Петербургской газете» и в харьковском «Южном крае». Подобную деятельность многие современники посчитали кощунственной: якобы своими «дамскими поделками» писательница очернила «святое дело» войны. Однако несмотря на резкие выпады недоброжелателей, она не сдавалась и упорно продолжала работать. Лухманова всегда твёрдо отстаивала свои позиции. Она, как никто другой, знала цену уступчивости.

Надежда Александровна Байкова родилась в 1841 г. в семье коллежского асессора Александра Фёдоровича Байкова. В 1853 г. с отцом семейства случилось несчастье — его разбил инсульт. Заботы о семье легли на плечи его супруги, которая отправила мужа на лечение, хлопотала о переводе сыновей (Андрея, Фёдора и Ипполита), учащихся в Павловского кадетского корпуса, на казённое обеспечение, а 12-летнюю дочь Надежду отдала в Павловский институт благородных девиц. После окончания института, поддавшись уговорам матери, Надежда вышла замуж за подполковника Афанасия Дмитриевича Лухманова (1824–1882). Бракосочетание совершилось в Берлине в 1864 г. Затянувшийся на полтора года «медовый месяц» закончился холодноватым договором: семья начала раздельное существование — оставив спутницу жизни в Санкт-Петербурге, Афанасий Дмитриевич уехал в Париж. И был бы это заурядный «неравный брак», если бы не бунтарский нрав молодой супруги. Лухманова не долго жила на положении жены «где-то лечившегося мужа». В июне 1866 г. она встретила Виктора Михайловича Адамовича (1839–1903), и уже через год у них родился сын Дмитрий.



**Виктор Михайлович
Адамович**

В апреле 1870 г. законный супруг вернулся в Россию и был немало удивлён наличием «наследника». Бракоразводный процесс прогремел на всю столицу. Скандальности судебному разбирательству четы Лухмановых добавлял непрерывный прирост «семейства» Адамовичей (сын Борис родился 15.11.1870 г.; дочь Мария — 01.10.1871 г.). В 1872 г. ответчицу признали виновной в нарушении супружеской верности, ей запретили повторное вступление в брак и наложили 7-летнюю церковную епитимью. Виктор Адамович с гражданской женой и тремя детьми переехал в Подольск. Их союз продержался до 1876 г. Пара была измучена нелегальностью своего положения, Виктор увлёкся азартными играми, начал заводить романы. Лухманова отказалась терпеть такое положение вещей и, оставив сыновей на попечение отца, перебралась в Москву вместе с дочерью Марией.



Дмитрий Лухманов



Борис Адамович

Несмотря на запрет Синода, Лухмановой удалось выйти замуж ещё раз. Её избранником стал студент Московского университета Александр Филимонович Колмогоров (1858 г.р.). Они обвенчались в феврале 1881 г. (у пары к тому времени уже был сын Григорий (1878 г.р.)). Невеста пошла на хитрость — в качестве удостоверения личности предъявила аттестат об окончании института, который предварительно слегка скорректировала (год рождения из 1841-го превратился в 1849-й, а год выпуска — в 1864-й). Числовые метаморфозы убили махом двух зайцев: Лухманова не только обошла церковный запрет,

но и убедила юного супруга, что их разница в возрасте не так уж велика. Вскоре молодые переехали

в Тюмень, на родину Колмогорова, однако тихой семейной гавани там обрести не удалось. Напротив, впоследствии писательница называла эти годы «тяжёлым уроком жизни». Она пыталась обустроиться, найти себе дело, оживить сонную жизнь купеческого города постановкой пьес и литературными вечерами. Тщетно. Столичная барышня, окружившая провинциала, не пришлась родственникам по душе, а её культурные начинания вызывали лишь насмешки. В 1885 г. Лухманова буквально сбежала в Санкт-Петербург, оста-

вив в Тюмени мужа и семилетнего сына Григория. В поездке её сопровождал молодой поклонник — архитектор Михаил Фёдорович Гейслер (1861–1930). Два года спустя Колмогоров усыновил собственного ребёнка (рождённый до брака мальчик юридически не имел отцовства), в том же году Синод признал их брак с Лухмановой недействительным.

В Санкт-Петербурге Лухманова занялась литературной деятельностью и довольно быстро достигла успеха. Основной причиной взяться за перо стало безденежье — бывшие возлюбленные обзаводились новыми семьями и обрастали заботами, действующий поклонник Михаил Гейслер не баловал рублём. Нужно было найти источник дохода. И тут Лухмановой помогли литературный талант и знание языков. Паломничество по редакциям в итоге принесло прибыль. Несколько лет начинающая писательница служила безымянным сотрудником различных газет: отвечала на вопросы читателей, сочиняла немудрёные фельетоны, переводила рассказы (иногда ей удавалось опубликовать своё произведение в качестве «перевода»). В 1893 г. к Лухмановой пришёл успех — «искренность, теплота, юмор» повести «Двадцать лет назад. Воспоминания из институтской жизни» сразили наповал редактора «Русского богатства» Н. К. Михайловского. Повесть полюбилась читателям и была тепло принята критикой. Два года спустя там же появились первые главы очерков о Сибири «В глухих местах» (1895). Правда, финала произведения читатели «Русского богатства» так и не дождались, Лухманова закончила публикацию уже в «Новом времени». В результате, одно из самых сокровенных произведений писательницы так и не нашло читательского



Театръ подъ выстрѣлами въ 11-мѣ пѣх. Псковскомъ полку. Группа офицеровъ съ командиромъ корпуса ген-отъ нав. барономъ Бильдерлингомъ во главѣ и сестрой милосердія А. А. Лухмановой. (Фотогр. собств. корресп.).

Лухманова на войне

отклика. Но остановить Лухманову было уже невозможно: каждый год выходили сборники рассказов и публицистики, театры ставили её перделки французских фарсов, публика толпилась на публичных лекциях. В 1904 г. Лухманова решилась на революционный для женщины шаг: поехала на русско-японскую войну в качестве военного корреспондента.

Писательница искренне радовалась профессиональным успехам, но не считала свою биографию примером удавшейся женской судьбы. Лухманова сокрушалась: ни с кем из многочисленных возлюбленных так и не сложилась одна из тех семей, что по-толстовски «похожи друг на друга». Причиной своей «угловатой» жизни она считала первое замужество, воспоминания о нём легли в основу романа «Институтка», а «девочка-жена», проданная семьёй за долги, стала главной героиней многих произведений («Институтка», «Преступление», «Разбитые грёзы» и др.). Само название рассказа — «Преступление» — в полной мере отражает отношение писательницы к произошедшему. Героиня изображена наивной девочкой, вчерашней институткой, не понимающей происходящего и искренне любящей свою семью. Мать предстаёт алчным манипулятором — она не принимает во внимание чувства дочери и просто заключает выгодную для семьи сделку. Девочка просит пощады, ужасается союзу со стариком, готова пойти на любую работу, лишь бы избежать брака с «нарумяненной мумией». Мать резко обрывает мольбы: свадьба — единственный способ отплатить за своё содержание и обучение в институте. В ход идут угрозы, увещевания, проклятия: «Бог непременно накажет непокорную девчонку, не пожалевшую старую мать и не пожелавшую спасти семью от нужды и разорения». Рассказ заканчивается описанием брачной ночи, после которой пара перерождается: сквозь тщательно нанесённый грим проступает истинное старческое лицо жениха, а наивная институтка превращается в женщину с «мёртвой душой».

История первого замужества со временем трансформируется: в рассказе «Ляля» героиня — вовсе не наивный ребёнок, она лишь умело торгует этим имиджем, изо всех сил стараясь удержаться на «брачном рынке». Девушка быстро соглашается на брак со стариком, очаровав его своей «детской неподкупностью». После удавшейся помолвки дочь вступает в финансовую сделку уже с матерью: она предлагает ей содержание при соблюдении ряда условий — мать обязана быть «прекрасной тещей» и заботиться о престарелом зяте «во всём до мелочей», вести дочернее хозяйство и покрывать её любовные похождения. Когда мать и дочь «ударили по рукам», девушка восторженно



Лухманова. 1865 г.

произнесла: «если бы все женщины, мама, понимали так друг друга, как мы с вами, они завоевали бы мир». Своеобразная гармония взаимоотношений, представленная в этом рассказе, обусловлена единой системой ценностей у женщин разных поколений: их объединяет практичный подход к замужеству. Эмоциональной связи между героинями нет, отношения построены по схеме «властвующей и подчинённой», но в данном случае силы — на стороне дочери. Замужество для неё не только финансовая сделка, но и способ подчинить себе мать.

Лухманова неоднократно писала о транслировании женщинами гендерных стереотипов. Если «ложный ребёнок» Ляля умело пользуется правилами игры на брачном рынке, то героиня романа «Варя Бронина» становится жертвой устоявшихся взглядов и материнских заветов. Короткий роман «Варя Бронина» своей финальной сценой перекликается с более ранним рассказом писательницы «Сила любви» (1895), но в романе писательница отходит от эстетики готического сюжета, переработав рассказ о мёртвой невесте в бытовую драму. В «Варе Брониной» Лухманова не идеализирует героиню, неоднократно отмечает её моральную неразвитость и отсутствие нравственных устоев, заменённых «шаблонными прописями добродетели». Но, несмотря на отрицательные качества, запутавшаяся девушка вызывает сочувствие читателей: мотивы её поступков понятны. Причинами согласия Вари стать женой нелюбимого человека являются неудержимое соперничество со сверстницами, желание доказать свою независимость, а главное, стремление вырваться из душной обстановки родительского дома с вечно пьяным отцом и брюзжащей матерью. Варя «приобрела право» на материнскую заботу и ласку только после официального сватовства завидного жениха. Мать по-своему желает счастья дочери, главный постулат которого: «замуж — любой ценой». Она спокойно относится к признанию дочери в потере невинности с возлюбленным: в её глазах это был всего лишь неудачный манёвр, и юноше удалось ускользнуть. Главная задача сейчас — не упустить нового перспективного жениха и устроить дело так, чтобы всё было шито-крыто. В результате — брачная ночь оборачивается трагедией.

Вторая пара женщин разных поколений — подруга Вари Аня Свиридова и её тётка Марья Андреевна — на первый взгляд кажется противопоставленной семейству Брониных. Тётка ласкова с племянницей, всегда помогает ей советом. Однако когда Аня пытается выведать у тётки ответы на деликатные вопросы замужества, то в ответ получает вековой «завет» женской покорно-



Лухманова. 1863 г.

сти: девушка должна быть покладистой и честной, основная задача — продолжение рода и ведение дома, нравственная чистота необходима для женщины, но необязательна для мужчины и т.д. Таким образом, в обоих случаях очевидно женское участие в транслировании гендерных установок и стереотипов: в случае Брониных это хищная, захватническая стратегия, в случае Свиридовых — покорность и подчинение. По мнению Лухмановой, обе стратегии разрушительны для женщины.

В рассказе «Винт» прослеживается много переключек с «Варей Брониной». Молодая девушка гибнет, героя так же зовут Ершовым и он такой же холодный и расчётливый карьерист (которому, однако, удалось внушить любовь к себе героине). Однако если в «Варе Брониной» сильна публицистическая нота, то в рассказе «Винт» самоубийство девушки изображено как вмешательство тёмных сил. Сюжет очерка пронизан мотивом карточной игры, которая поглощает практически всех обитателей дома, делая из них живых мертвецов. Греховность, мучающая соблазнённую девушку, словно материализуется и подталкивает героиню к смерти. Произведения объединяет мотив духовной глухоты и удушающей атмосферы, царящей в семье. Молодые девушки зажаты в строгие рамки приличий и общественных устоев, они вынуждены или подчиниться им, или умереть. Писательница неоднократно повторяет горькую истину: незамужняя дочь в семье — самый бесправный человек.

Лухманова не считала себя феминисткой. Она с сожалением отмечала, что женское сотрудничество зачастую оборачивалось межусобной войной: хаотичные действия и громкие возгласы ярых поборниц движения лишь усугубляли ситуацию — вместо борьбы за свои права они боролись друг с другом. Однако «женский вопрос» стал центральной темой её творчества. Лухманова неоднократно писала об изменениях внутреннего мира и облика женщины, критиковала уровень женского образования и устаревшие методы воспитания, искала различные пути самореализации для женщин.

Роль женщины в семье и обществе — центральный пункт размышлений Лухмановой. Писательница решила публично обсудить один из самых «жгучих вопросов»: статья «О положении незамужней дочери в семье» (1896), по сути, впервые в литературе поднимает тему «лишнего рта», каковой представляет собой будущая «старая дева» для родственников. По мнению Лухмановой, существуют два типа девушек: дочь, которая до 20 лет служит украшением семьи (далее она становится обузой), и дочь взбунтовавшаяся, бросившая родных (при возвращении блудной дочери никто из родных не зарежет «откормленного тельца»). Основные черты жизни девочки в семье: никудышное образование, отсутствие свободы и культивируемое чувство «декоративности» своего пола. Для многих девушек замужество



Лухманова. 1902 г.

— заманчивая иллюзия вольной жизни. Если же дочь не выходит замуж, то её существование в семье сопровождается непреходящим чувством вины. Она становится вечной должницей близких, чьих надежд ей не удалось оправдать, и живёт в доме из милости, словно не сумевшая вовремя уехать гостя: лишняя и всем в тягость. Сыновей никогда не торопят с женитьбой, но для дочерей замужество становится поистине «проклятым вопросом»: страх остаться старой девой — причина многих несчастливых союзов.

Лухманова всегда выступала за семейные ценности, однако советовала матерям не навязывать дочерям замужество как единственно положительный жизненный сценарий, ведь в таком случае все достижения нивелируются отсутствием брака, и, несмотря на отвоёванные сферы деятельности, схема останется прежней: каких бы высот не добилась женщина, пока она не замужем — её жизнь не удалась. Существенной преградой в борьбе за женскую эмансипацию писательница считала финансовую зависимость. В первую очередь необходимо научить женщин добывать и преумножать собственные средства. Дочери не должны быть ущемлены в правах на наследство по сравнению с братьями, девушкам требуется не «дамское» образование (умение петь и вышивать), а прикладные знания; кроме того, они всегда должны быть уверены в том, что родители не тяготятся ими и готовы поддержать их начинания. Финансовая независимость подарит женщине уверенность в своих силах, она перестанет смотреть на мужчину как на оказавшего милость содержателя, и будет тщательнее подходить к выбору спутника жизни. Мужчины, в свою очередь, начнут относиться к женщинам с большим уважением. Истоком неудач вобретении финансовой независимости Лухманова считала пренебрежительное отношение общества к женскому труду (в первую очередь — со стороны самих женщин). Большинство девушек служили лишь до вступления в брак, и по этой причине их принимали на службу формально, не питая особых надежд. К тому же сотрудницам была доступна лишь низкооплачиваемая «чёрная работа» (например, канцелярское дело), и вскоре после появления женщин на рынке рабочей силы — сизифов труд делопроизводства лёг на их плечи: алчущие свободы дамы оказались заложницами отупляющего труда и низких зарплат. Писательница советовала женщинам постоянно повышать уровень профессионализма в избранной деятельности, сохранять чувство собственного достоинства и не воспринимать свою работу как несерьёзную и недостойную высокой оплаты.

Лухманова призывала женщин к осмысленному подходу на пути к эмансипации и предостерегала читательниц: бездумно копируя маскулинные модели поведения, женщина лишь продолжит играть по мужским правилам. Писательница предсказывала изменения в устройстве института семьи, постепенное стирание гендерных различий, появление женщин во всех сферах деятельности, но подчёркивала, что для настоящих глубинных изменений необходимо запастись терпением. Своё представление о будущем она высказала в публицистическом сборнике «Черты общественной жизни» (1898): «Ускорять женский вопрос, кричать о равноправности теперь — всё равно, что бегать по идущему на всех парах вагону, чтобы ускорить его ход. Вопрос о равноправности идёт сам, идёт деятельно, но разрешить его вполне может только далёкое будущее. Для этого нужны школы и университеты, одинаковые для мальчиков и девочек, одинаковое воспитание, одинаковая дисциплина, одинаковые силы: тогда возродится платоновский человек, один, но разрубленный на две одинаковые половины. Тогда будет существо мужского пола, существо женского пола, но женщины в том смысле, как мы привыкли понимать её теперь, не будет».

Лухманова была неудобным человеком. Она часто шла наперекор общественному мнению, не боялась острых и неоднозначных тем, отважно отстаивала свои убеждения, открывала новые области для женского творчества. Каждый раз, когда голос писательницы звучал чересчур громко, оппоненты норовили загнать её в «женский угол»: художественные произведения язвительно называли неумелым «дамским рукоделием», рассуждения на социальные темы — пустой тратой читательского времени. Лухманову травлили с наслаждением. Карикатуры на пожилую «институтку-морализаторшу» множились с каждым годом (во время её поездки на русско-японскую войну этот образ обрёл пикантную окраску), критики зачастую не гнушались прямыми оскорблениями (за переводы фарсов прозвали «порнографисткой»). Лухманова каждый раз вежливо и корректно отвечала обидчикам: они вольны относиться к её творчеству как им угодно, но работать она не прекратит. Писательница не желала замалчивать проблемы и не шла на компромиссы. В своей «угловатой» жизни Лухманова не всегда была счастлива, «угловатое» поведение задевало окружающих, «угловатые» суждения подчас были ошибочны, но она всегда оставалась верна себе и отстаивала свою точку зрения. А это дорогого стоит.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

(Из жизни)

На свете бывают такие легальные убийства, которые оправдывают и закон, и обычай.

Из записок императора Наполеона I

На Знаменской к подъезду без швейцара подкатила щегольская каретка, запряжённая в «одноконь». Кучер, англичанин, в цилиндре и гороховой ливрее с тремя воротниками, ловко осадил высокого, поджарого trotter'a с кучым хвостом и замер с бичом в одной руке и гидами — в другой.

Из кареты вышел, под стать английскому рысаку, высокий, худой господин и остановился на тротуаре, оглядывая самодовольным глазом хозяина на корректность всей закладки. Луч зимнего, ясного солнца скользнул по фигуре остановившегося господина, осветил его вылощенный цилиндр и под ним — густую шапку завитых волос удивительного лиловато-зелёного оттенка. Господин отступил на шаг, чтобы лучше разглядеть своего величественного кучера, теперь луч солнца задрожал на его дряблых, чуть-чуть подрумяненных щеках, с глубокими продольными морщинами на жёстких щетинистых усах и в светлых, как бы выцветших голубых глазах с чёрными острыми зрачками.

— You can away, Steaphens! — проговорил господин величественно и с горечью убедился, что прихожих не было ни души и его английская фраза пропала в пространстве.

— All right! — буркнул Стефенс, и troiter, тронутый бичом, вскинул раза два, как султан, свой англизированный хвост и, перебирая длинными, сухими ногами, «зачесал» по направлению к Невскому.

Господин вошёл в подъезд и поднялся по лестнице, на которую, очевидно, выходили квартиры «с одним входом». Дойдя до третьего этажа, он уже два раза вынимал из кармана носовой платок, пропитанный reau d'Espagne и отгонял им аромат цикория, шей, луку, которыми обдавало поочередно из всех полуотворённых дверей. У № 45 он остановился, там было две двери, наискось одна от другой, очевидно, обе они принадлежали одной квартире, но одна играла роль парадной, другая шла в кухню.

Господин позвонил у парадной двери и вдруг, склонив голову на бок, в позе внимательного лягаша, стал с удивлением прислушиваться к резвому топоту ножек, нёсшихся из комнаты по коридору. До него долетела трель молодого, весёлого смеха и звонкий голос: «Первый гость мой!» Приподня-

тый, очевидно, с трудом дверной крючок сильно щёлкнул, дверь распахнулась, гость попятился и невольно рукой, затянутой в английскую красную перчатку, приподнял цилиндр. Перед ним в разрезе двери стояла тоненькая, как весенняя веточка, девушка, почти ребёнок. Безусловно-рыжие, как червонное золото, волосы её падали на лоб, ласкали щёки крупными, мягкими волнами и спускались за спиной тяжёлой косой. Серые глаза, оттенённые длинными, тёмными ресницами, глядели так широко и ясно, словно окна, распахнутые в светлый, душистый сад, несколько тупой, правильный носик и маленький рот, полуоткрытый на белых зубах, довершали впечатление не красоты, но чего-то в высшей степени молодого, задорного, преисполненного жизни.

— Баронеса Калькбрун? — спросил, запинаясь, посетитель.

— Это я! — смело отвечала девушка, — то есть не я, а это моя мама, а я — её дочь Элла, сегодня вышла из института, — и девушка, вывалив всё это скороговоркой, вдруг вся зарделась, бросила дверь открытой и понеслась назад по коридору тем же галопом, каким примчалась отворять её.

— Мама! К вам пришёл «дядя Дроссельмейер», крикнула Элла, уткнулась лицом в подушку дивана, на котором сидела её мать, и залилась хохотом.

— Какой Дроссельмейер? Что ты дуришь, Элла? Баронесса с сердцем, привстала с дивана. — Говори толком, кто там пришёл?

— Дядя Дроссельмейер! Говорю вам: дядя Дроссельмейер, тот самый, что сидел на часах и прикрывал циферблат своими фалдами. Девушка снова захохотала и нырнула головой в подушку.

— *Comme c'est bête*, — произнесла величественно баронесса и поплыла в прихожую, где гость, не дождавшись прислуги, с трудом стаскивал сам с себя пальто и шаркал ногами, снимая галоши.

— Сергей Дмитриевич! — запела баронесса. — Боже мой, как я рада, такой дорогой и редкий гость!

— Я не знал, Анна Карловна. — Сергей Дмитриевич Бахметьев галантно поцеловал сухую и тонкую руку баронессы: — что у вас сегодня такая дорогая гостья.

— Ах! Вы видели моего сорванца? Как же, сегодня выпуск, всего 17 лет и уже кончила курс, пришлось взять — *mais elle est tellement gamine tellement gamine!* Прошу в комнату! Paul тоже сегодня дома.

Paul, старший сын баронессы, офицер, приехавший с юга из своего полка на выпуск сестры, сидел в столовой и тоже хохотал, глядя, как покатывалась сестра.

— Ну, полно, Элла, мама уже в зале с гостем, сейчас надо и нам выйти, нельзя же так хохотать, ну!

— Ах, Paul, если бы ты видел его физиономию! Я думала, она сейчас сядет тут передо мной на пороге. Здорóво я его напугала!

— Элла, chérie, иди сюда, к нам, я тебе представлю дорогому гостю. Элла вскочила и отчаянно замахала руками.

— Ну, ну, ступай! — проговорил её брат, — уже позвали, так ступай. Мама не очень-то любит шутить!

С Эллы разом соскочил смех, она встала с дивана, оправила своё светлое, пышное платье, провела ладонями по непокорным волнам волос и сделала шаг к двери.

— Ты со мной, Поль, милый, да?

— Ступай, я за тобой, и брат отворил перед ней дверь в зал.

Элла вошла степенно, не поднимая глаз и, за три шага до гостя, сделала ему глубокий реверанс, как на публичном экзамене. Затем так же чинно села на стул и сложила руки коробочкой, «ладонь в ладонь».

Поль вошёл за ней и, обменявшись с гостем банальными фразами, отошёл к окну и закурил.

Широкий рот гостя с тонкими, жёсткими, как бы прорезанными губами, расплывался в непроизвольную улыбку и показывал такие белые, ровные зубы, которые, очевидно, были ближе дантисту, нежели его собственным дряблым дёснам. Глазки его увлажнились и приковались к девушке.

«Старая обезьяна, — думал Поль, искоса наблюдая за гостем, — туда же... а чертовски богат: вот бы такого зятя... Да ведь Элла — дура!»

— Ну, что, m-lle Элла, рады, что не вернётесь в институт?

— Не знаю, тихо отвечала девушка, не поднимая глаз на Бахметьева, — я ведь совсем дома не бывала... а там подруги...

— Вы, верно, будете скучать по тому, кого обожали? Гость захихикал. — Ведь, говорят, в институте все кого-нибудь обожают, да?

— Да, конечно, многие обожают.

Элла перекинула через плечо свою толстую, рыжую косу и начала нетерпеливо играть голубым бантом.

«Вот пристал, — думала она, — хоть бы Поль заговорил с ним!..»

— У вас кого же обожают? — не унимался гость. — Ламповщика? Швейцара?

Тонкие брови девушки дрогнули, и она вдруг подняла на гостя сердитые глаза.

— Какие глупости!

— Элла! Баронесса сделала строгое лицо.

— Ах, оставьте нас, оставьте! — захлёбывался гость от восторга.

— Конечно, глупости, маман! Разве кто у нас станет обожать ламповщика? Он грязный, заправляет лампы и керосин об волосы вытирает. А швей-

цар — ведь вы, татап, знаете Якова? — старый, в ливрее, ну кто же станет его обожать? У нас обожают учителей, инспектора или кого-нибудь так, «в душе», — Скобелева, Наполеона, Виктора Гюго, Ламартина...

— Charmant, charmant! — хихикал гость. — Наполеона, Ламартина! Delicieux!

Девушка потупилась и совсем нахмурилась: ей казалось, что гость смеётся над ней.

— Анна Карловна! Ну, теперь уже вам придётся расстаться с вашим паянсом и винтом; ведь, вот я и сегодня заехал к вам послом от генеральши Залеской, думал, вы составите нам партию.

— Да уж я сегодня никак не могу, скажите Лидии Петровне, что я взяла из института дочь...

— Скажу, скажу. А вот вам надо теперь повеселить m-lle Эллу... в оперу, в театр... покататься...

— Куда уж вам! — баронесса замахала руками. — Ведь вы знаете мои вдовьи достатки, да и притом — я нигде не бываю. Вот жаль, что и с братом ей не придётся погулять. Поль завтра же уезжает обратно в свой полк.

— Завтра же, Павел Александрович? Ай-ай-ай, как скоро!

— Да, Сергей Дмитриевич, завтра: да всё равно, едва ли я мог бы доставить сестре много удовольствия.

Поль забарабанил пальцами по стеклу, а Элла посмотрела на него вся грустная, с глазами, полными слёз.

— Да, — продолжала баронесса, искоса наблюдая за гостем. — Элла должна думать не об удовольствиях. Вот поживёт, осмотрится, попривыкнет, а потом, кто знает, может, придётся ей идти на место в гувернантки...

Гость завертелся на стуле.

— Как можно говорить так, зачем печалить такой радостный день? Вот я совершенно нечаянно попал к вам именно сегодня, я вижу в этом пути Провидения, право! Я ужасно впечатлён и суверен. Вот, Анна Карловна, вы мне, как вашему старому знакомому и, позволяю себе сказать, другу, позвольте повеселить Эллу Александровну. Ну там, ложу, когда вздумаете, в оперу, в театр; лошади мои к вашим услугам...

— У вас есть лошади? Свои собственные? Какие, то есть какого цвета и сколько их?

— У меня две пары: пара вороных для больших экипажей, один английский рысак, trotter, и один рыжий иноходец.

— Рыжий? Как я! — Элла звонко засмеялась. — Что это значит — иноходец?

— Это — особая порода: он оригинально бегаёт, вот увидите, и страшно быстро.

— Быстро? Как ветер! И вы позволите мне на нём кататься?

Элла вскочила с места и, полуоткрыв пунцовые губки, глядела на гостя со страстной мольбой.

— Позволю, сколько хотите, хоть весь день.

— О! мамочка, Поль, слышите? — Девушка подошла к гостю и снова глубоко присела перед ним. — Merci, какой вы добрый! Как я рада, что вы приехали!

Щёки старого господина покрылись настоящим лиловатым румянцем. Глаза вспыхнули живым, молодым огоньком.

— Значит, мы — друзья с вами, Элла Александровна? Вы больше на меня не сердитесь за то, что я сказал «об обожании».

— Где уж тут сердиться, когда у вас есть рыжий иноходец, на котором я буду кататься! Только вы, всё-таки, лучше не дразните меня — я не люблю этого.

— Не буду, давайте ручку!

Элла храбро протянула ему свою ручку, но когда гость стремительно поднёс её к своим щетинистым усам, девушка так сильно и неожиданно выдернула её, что гость стукнул себя по подбородку своей собственной рукой и кисло улыбнулся.

Поль не мог удержаться от улыбки. Баронесса нахмурилась

— Элла, *quelle manière!*

Но девушка стояла уже холодная, с нахмуренными бровями.

— Я не люблю, когда меня трогают. Ну, дала руку, надо было её пожать и оставить, так все делают, а зачем же целовать-то?

— *Charmant! Charmant, c'est délicieux* в наш век! Нет, я сам виноват, простите, — и гость взялся, наконец, за шляпу. — *Mlle Элла*, завтра, с двенадцати часов, иноходец будет у вашего подъезда.

Когда, рассыпавшаяся в благодарностях, Анна Карловна осталась одна в прихожей, Сергей Дмитриевич Бахметьев схватил её за руку.

— На правах старого друга, Анна Карловна, вы мне позволите... Ради Бога, не отказывайте, потом сочтёмся, отыграетесь, и он ей ловко, как доктору, всунул в руку три радужные. — *Je comprend vos scrupule mais*, ведь я понимаю, как вам трудно справиться теперь... и напутствуемый сконфуженной, но искренней радостью баронессы, он вышел на лестницу и на этот раз ему казалось, что лестница и отлога, и широка, и сравнительно чиста, и без малейшего запаха. Выйдя на улицу, он всё ещё улыбался и бормотал про себя: *Charmant! Charmant!*

* * *

Перед маленькой глупой Эллоу, 17-летним ребёнком, ничего не выдавшим, кроме институтских стен, жизнь вдруг раскрылась, как упоительная

пёстрая сказка. Концерты, театры, опера, наряды поглотили всё время, а когда в три часа дня Элла, в дорогой плюшевой шубке, сидела с матерью в маленьких санях и рыжий иноходец, покрытый синей сеткой, летел, отбрасывая копытами серебристый снег, девушке казалось, что она всё это видит во сне; Невский, Б. Морская, со сверкающими магазинами, с толпой нарядной публики мелькали перед её очарованными, широко открытыми глазами, в груди её зарождалось какое-то особое, радостное до боли чувство, и ей хотелось нестись ещё быстрее, куда-нибудь дальше, дальше — в неведомые страны.

Бахметьевского иноходца и его бородатого кучера Илью знали многие в Петербурге, на Эллу обращали внимание, её имя проникло в праздные кружки, кто называл её новой восходящей звёздочкой петербургского полусвета, кто передавал за достоверное, что это незаконная дочь Бахметьева, взятая им из института.

Знакомые баронессы Калькбрун, знавшие её торопливую походку бочком и потёртую лисью ротонду, теперь, встречая её разодетую, с нарядной, хорошенькой дочерью, всюду на первых местах, говорили ещё хуже и ещё резче; и надо было всё ожесточение баронессы, ненавидевшей прошлую нужду и верившую в будущее, и всю невинность и неопытность Эллы, чтобы спокойно с достоинством выносить насмешливые взгляды и колкие слова, сыпавшиеся на них со всех сторон. Бахметьев был влюблён как мальчик, как юнкер. Не питая никогда никаких особых чувств к Анне Карловне, считая всегда довольно проблематичным её существование около богатых дам и вдовушек, в качестве то партнёрши в винт, то временной домоправительницы во время поездки её богатых знакомых за границу, он теперь уверял её в самых дружеских чувствах и держал свой кошелёк всегда открытым к её услугам, а баронесса, раз запустив худую руку, раз почувствовав в своих цепких пальцах хруст радужных бумажек, уже не могла более удержаться от соблазна и брала уже без краски стыда, без заведомо-ложных уверений отдачи, брала очертя голову, и тратила, как в тумане. Какие планы роились раньше в голове Бахметьева, когда он в первый раз увидел Эллу? Бог его знает! Но теперь он твёрдо решил — жениться. С одной стороны, Элла всё-таки была хорошего рода, брат её был офицер; с другой стороны, если бы эти препятствия и могли уладиться, то сама девушка была какая-то дикая, девственная мимоза. Всегда весёлая, ласковая, благодарная за каждую мелочь, она бросалась к Бахметьеву навстречу, смеялась и влажными розовыми губами, сквозь которые сверкали белые зубки, и глазками, сиявшими и вспыхивавшими от всякого удовольствия, и золотом своих рыжих волос, но при малейшей попытке на фамильярность, при первом намёке на слащавую ласку, которая

так допускается старыми знакомыми в отношении молоденьких девушек, Элла бледнела, брови её сдвигались и всегда повторялась резкая, почти грубая сцена, как в первый раз, когда Бахметьев хотел поцеловать руку девушки. Очевидно, этого дикого ребёнка можно было получить только через руки церкви, и старый, влюблённый Бахметьев просил у Анны Карловны Калькбрун руки её дочери Эллы.

Баронесса торжествовала! Paul, получивший от будущего зятя письмо с приложением солидной суммы, был тоже очень доволен.

* * *

Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвёздные края,
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя.

Элла сидит в ложе и с пылающими щеками, с замирающим сердцем слушает Демона.

И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой.
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой,
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью...

Сердце Эллы дрожит, какое-то новое чувство растёт в её груди, она не видит ничего кругом себя, не чувствует, как слёзы одна за другой катятся из её глаз.

Из партера какой-то бинокль усталился на молодую девушку. Белокурый офицер сидит почти спиной к сцене и не сводит глаз с Эллы.

— Элла! Cher enfant! — тихонько окликнула баронесса дочь.

Элла вздрагивает и, вся вспыхнув, закрывается веером.

— Вы знаете этого офицера? — шепчет Бахметьев баронессе и указывает ей на упрямый бинокль партера, устремлённый в их ложу.

Элла слышит злобный старческий шёпот и глядит в партер. Личико её вдруг проясняется, милая улыбка раскрывает губы, и она кивает по-детски часто и весело головой.

— О да, она знает эту белокурую голову, знает карие большие глаза, скрытые за биноклем.

— Mais, Элла, tenez vous donc tranquille! — говорит уже со злостью баронесса.

— Мама, это ведь Виктор Михайлович Озёрский — товарищ Поля!

— Так что же из этого, очень глупо с его стороны так фиксировать нас, а с твоей — ещё глупее кланяться первой.

В антракте Озёрской входит к ложу, баронесса представляет его Бахметьеву, но молодой человек спешит занять стул возле Эллы, их глаза встречаются, оба заговорили разом и оба оборвались, засмеявшись.

— Говорите вы, — уступает Элла.

— Нет, говорите вы, — смеётся офицер.

— Давно ли вы из Одессы, ведь вы, кажется, уехали вместе с Полем?

— Я соскучился в Одессе и снова получил командировку, я не видал вас со дня выпуска, с той институтской обедни, на которую приехал тогда с вашим братом. Как вы переменялись с тех пор, Элла Александровна.

— Я переменялась! Чем?

Офицер молчит и смотрит в глаза девушки. Что-то тёплое, новое прокрадывается в сердце Эллы, вдруг весь зал преобразуется в её глазах, всё стало новиться, светлее, шире, какая-то волна счастья подхватывает её, и она тихо, счастливо смеётся, а глаза её наполняются слезами.

— Как я скучал в Одессе, как торопился назад. Ведь я два раза был уже у вас и всё не заставал вас дома, сегодня я узнал, что вы будете в опере и едва-едва достал билет...

— Pardon, m-r Озёрский, — скрипит голос баронессы. — Элла, перейди в аванложу, — нам подали туда мороженое и фрукты.

Из оперы Элла едет с матерью в маленькой уютной каретке Бахметьева, против неё в бронзовой ручке вдет большой букет белых роз, сладкий аромат полувядавших цветов одуряет её, ей грезятся карие, мягкие глаза, она вспоминает, как раз в институтскую приёмную её вызвали к брату, а вместо брата она застала там Озёрского, он привёз ей тогда — первый в её жизни — букет цветов. Когда они прощались, она, по его просьбе, вдела ему в петличку одну розу и ... он поцеловал её руку, она тоже отдернула её, но без гнева, — о! — совсем без гнева... Она закрывает глаза, мягкие рессоры убаюкивают её и какие-то неясные мечты, как розовый туман, обволакивают её головку и всё её молодое, невинное существо бессознательно открывается для восприятия нового и лучшего из человеческих чувств — любви.

* * *

— Элла! — баронесса входит в комнатку дочери, когда та, расчесав на ночь свои густые рыжие волосы, заплетает их в толстую косу. — Элла, мне надо поговорить с тобой!

— О чём, мама? — Девушка повёртывает к матери полусонное личико, белая батистовая рубашка с широкой кружевной оборкой сползает с худенького, гладкого, как атлас, плеча, тоненькие розовые руки машинально доплетают косу, перекинутую на грудь, белая батистовая юбочка, вся в волнах, мягкими складками падает вдоль девичьего стана. Вся девушка похожа на только что распутившуюся белую лилию.

— О чём же, мама? Вы что замолчали?

— Элла, дорогая моя, я должна говорить с тобой серьёзно.

Глаза девушки, открываются широко, сонные грёзы слетают с них и сердце почему-то вдруг сжимается и замирает.

— О чём же, мама? — повторяет она в третий раз, уже почти машинально.

— Неужели, Элла, ты ни разу не задавала себе вопроса: отчего наша жизнь так переменялась, отчего я так стеснялась сделать тебе к выходу платье, а теперь вдруг шью тебе наряды за нарядами, откуда у нас теперь деньги, ложа, цветы, прекрасный стол, две прислуги, словом — вся роскошь, окружающая нас?

— Мама, — голос Эллы вдруг задрожал от страха, — Мама! Я право ничего не думала, вы давали мне, делали всё — я принимала...

— Но ведь от тебя не скрывали, что всё это идёт от Бахметьева.

— Мама я же не знаю, вы говорили — это ваш старый друг. Он знал ещё папá, он очень богат, он говорил, что считает себя вправе помогать нам...

— Это всё так, Элла, но ведь это фразы, в сущности — он чужой нам, когда захочет, он отнимет свою помощь, и мы снова станем нищие.

— Нищие? — Элла побледнела. — Нищие? — ей стали грезиться все те лохмотья, которые протягивали к ней на улице руку.

— Хуже, чем нищие, — продолжала с пафосом баронесса. — Ты не имеешь понятия, как я жила без тебя. Отец умер разорённый; чтобы воспитать вас, я продала всё, что имела, я работала, я ночи сидела в нетопленной комнате за переводами разных кляузных дел, докладов, которые доставлял мне один знакомый из Сената.

— Мама! — Элла бросилась на колени и стала целовать руки матери.

— Всегда в долгу, в долгу у домохозяина, который гнал меня с квартиры, в долгу у лавочника, они приходили в кухню и говорили мне грубости, грозили судом.

— Мама, мама! — слёзы душили Эллу.

— Я, родовитая баронесса, была как приживалка у своих богатых знакомых. На балах и вечерах меня приглашали разливать чай и смотреть, чтобы прислуга не разворывала десерт и вина. За эти и другие услуги мне пла-

тили, и я, краснея и глотая слёзы, принимала деньги, потому что мне надо было копить, чтобы взять тебя из института не хуже других.

— Мама, мама!

— Сколько унижения, сколько слёз, сколько бессонных ночей я провела, сколачивая для тебя грош за грошом, и вдруг, как только ты вышла из института, точно сам Бог сжалился надо мной: в тот же день приезжает Бахметьев, и всё переменяется, наша жизнь пошла спокойно, счастливо, — я вздохнула.

— Мамочка, но ведь Бахметьев добр, он же и не оставит нас?

— Элла, всё зависит от тебя, ты можешь спасти и твою мать, и твоего брата, который тоже в полку изнывает от долгов и нужды, всё в твоих руках.

— В моих, мама? В моих? Каким образом?

— Элла, будь благоразумна, спаси нас, Бахметьев просит твоей руки!

— Что? Что? Что вы сказали, мама? Бахметьев просит моей руки? — Элла вскочила на ноги и громко нервно расхохоталась, — Неужели, мама, это значит, что он, Бахметьев, хочет жениться на мне?

— Конечно, Элла! Он делает нам честь. Он вовсе не стар.

— Кто не стар? Это дядя-то Дроссельмейер с зелёными волосами и с фальшивыми зубами, которые стучат, как клавиши? Ведь Поль мне сам это сказал! Мама, вы шутите!

Баронесса вся побледнела.

— Поль дурак, и ты — сумасшедшая девчонка! Если ты не пойдёшь за Бахметьева, говорю тебе, мы — нищие, хуже того, мы — воровки, так как брали-брали у человека без всякой даже надежды расплатиться с ним.

— Мама! — Элла дрожала, как в лихорадке, — Мама, я пойду в гувернантку, я буду трудиться, мне дадут жалованье, я всё, всё буду отдавать ему!

— Не дури и не говори глупости, я обещала Бахметьеву твоё согласие, он добрый, прекрасный человек, он будет боготворить тебя, ты будешь богата.

Элла вдруг с рыданием бросилась к ногам матери.

— Мама, родная, пожалейте меня, не делайте этого, не делайте, я не могу, он противен мне, убейте меня, но не отдавайте ему!

— Элла, девочка моя! — Баронесса подняла дочь на руки, положила её на кровать и стала около неё на колени, — Пожалей твою старую мать, побойся Бога, который накажет тебя за то, что ты не хотела спасти от нужды и горя свою семью.

И речь баронессы лилась-лилась, тут были и угрозы, и мольбы, и проклятия, и ласка, и к рассвету бледная, как её батистовая рубашечка, Элла сказала «да»... и уснула — как скошенный цветок, печальная, тихая, маленькая, с личиком распухшим, посиневшим от страха и усталости и вместо росы орошённая крупными каплями необсохших слёз.

«Се грядёт голубица, чистый агнец», — гремит хор в одной из людных петербургских церквей, и Элла — бледная, тоненькая и грациозная, идёт медленно по церкви; её большие серые глаза не видят ничего кругом, скорбным, молящим взором впёрлись они в иконостас; как во сне она робко становится на пунцовую шёлковую полоску, рядом с ней стоит молодцевато Бахметьев, а в толпе, затерявшись среди мундиров со звёздами, стоит Озёрский и грустными карими глазами следит за тем, как дрожит у невесты маленькая ручка, обмениваясь кольцами.

Всего месяц прошёл со времени последнего объяснения баронессы с дочерью — и Элла уже обвенчана, и двухместная новая карета мчит молодых на Английскую набережную в их новую роскошную квартиру. Завтра молодые уезжают за границу.

Шумно и спешно подымается толпа гостей по роскошному ковру, покрывающему лестницу, двери квартиры в бельэтаже широко распахнуты, и целая фаланга лакеев встречает новобрачных и их свиту.

Баронесса, вся в золотом шёлку, с настоящими кружевами, грациозно исполняет обряд благословения иконой и хлебом. Музыка играет, гости пьют шампанское, затем разносят фрукты, дорогие бонбоньерки, и карета за каретой увозит гостей. «Молодой» идёт к себе, баронесса уводит Эллу в спальню и при помощи горничной начинает снимать с неё фату, fleur d'orange и подвенечное платье. Громадное трюмо отражает стройную, тоненькую фигуру девушки, на лоб снова выбились тяжёлые рыжие волны, а из-под них, среди бледного до прозрачности лица, лихорадочно блестят тёмные серые глаза и глаза эти, как у насмерть загнанного зверька, светятся испугом и глубоко затаённой ненавистью. Горничная уходит. Баронесса говорит что-то тихо и долго, хочет поцеловать дочь. Элла невольно отшатывается, поцелуй скользит по рыжим кудрям.

Элла лежит в кровати, зубы её стучат, и бледные губы не могут сомкнуться.

Баронесса выходит, сердце её бьёт тревогу: от этой сумасшедшей девчонки всего можно ожидать! В спальне погашена лампа, с потолка спускается в виде античной чаши розовая veilleuse и льёт жаркий густой свет на белый пушистый ковёр, на бледно розовый атлас кровати и мебели.

Сердце Эллы стучит так громко, что она не слышит шуршания приближающихся туфель, и только инстинктивно повернув головку к двери, завешанной портьерой, видит, как распахиваются её складки и в комнату входит Бахметьев в пунцовом бархатном халате и расшитой золотом ермолке на густых, круто завитых волосах.

Бахметьев подходит к кровати, глаза его горят, рот распускается в дрожащую улыбку. Элла как затравленный зверёк закрывает глаза и вдавливаются головой в подушки, как бы желая скрыться, исчезнуть в них...

* * *

Светает, сквозь кружевные гардины спальни прокрадывается зимнее петербургское утро и рассеивает лучи розовой *veilleuse*, вся комната наполняется холодным, мутным полусветом. На роскошной супружеской кровати спит Бахметьев, и жёсткий сон, отняв от него всю напускную молодцеватость, выдаёт его усталым, болезненно жёлтым, бессильным стариком. Рядом с ним, опершись на точёный локоть голой руки, полулежит его молодая жена. Её гладкий, детский чистый лоб прорезался впервые продольной, глубокой морщинкой: её серые глаза кажутся огромными, от окружившей их синевы, бледные губы сжаты, лицо осунулось, и в самой позе её, в напряжённо вытянутой шее, в устремлённых на мужа глазах лежит печать глубокой, озлобленной думы.

Ночь посеяла в молодой душе семена будущей супружеской жизни; годы пройдут и покажут, какие будут всходы.

В эту ночь, как в страшной волшебной сказке, совершилось перерождение: доверчивая, открытая для всего чистого, душа девочки Эллы вынута из молодого тела и подменена душой женщины полной презрения, ненависти к людям, к их расчётам и беспощадному эгоизму. Отныне общество, может быть, создало себе нового, непримиримого врага. Жизнь накинута свою сеть на молодую женщину, но она как мышь перегрызёт в ней петли общественного благоустройства, и — кто знает — не даст ли она проникнуть сквозь образовавшие дыры тёмным силам прелюбодеяния, раздора, преступления, может быть — смерти. Вся её молодость, вся красота, может, пойдут теперь только на то, чтобы отомстить за своё поругание, чтобы вырвать от жизни забвение прошлого, чтобы залить, затопить незаконной страстью и лаской законом положенную на неё печать стыда.

ЛЯЛЯ

По солнечной стороне Невского, ловко и быстро лавируя среди толпы гуляющих, шла молодая девушка. На вид ей можно было дать не более шестнадцати лет. Маленькая, с тоненькой талией, но прекрасно развитой грудью, очень белокурая, с большими голубыми глазами, с маленьким ротиком, круглым и пухлым как вишня — она похожа была на прелестную

куклу. Ни один встречный мужчина не прошёл мимо, не оглянувшись, пожилые даже останавливались и провожали её глазами, молодёжь громко передавала друг другу своё впечатление.

— Видели? Вот хорошенькая, прелесть!..

А девушка шла, не обращая ни на кого внимания, и так спешила, что даже, запыхавшись, открыла ротик, что придавало ещё более наивное и детское выражение её личику. При повороте на Большую Морскую она чуть не столкнулась с молодым офицером, который, увидев её ещё издали, пошёл ей прямо навстречу.

— Людмила Александровна!

Девушка пугливо подняла голову и, узнав говорившего, вдруг засмеялась, на щёчках её образовались ямочки, глаза заискрились, она ласково продела свою руку под руку встречного.

— Вот хорошо... я так устала, вы меня доведёте до дому?

— К несчастью, доводить придётся мало, уже теперь так близко...

— Да, недалеко... Зато я теперь пойду тихонько. Вы откуда?

— Прямо из академии... а вы откуда... и одни?

Девушка опять засмеялась, опять личико её засветилось, молодой человек глядел на неё с нескрываемым восторгом.

— Откуда я?.. Ну, вам, пожалуй, скажу, ведь вы не выдадите?.. Верю! Я, собственно, из музыкальной школы, с урока пения, но, возвращаясь дорогой школьников, я прошла по Невскому в Пассаж, оттуда — по всему Гостиному двору и теперь бегу домой, скажу, что учительница пения сегодня опоздала.

— Солжёте?

— А то как же?

— Лялинька, грешно!.. — комично вздохнул офицер.

— Это правда, но я не могу иначе, я лучше вечером сделаю лишних шесть поклонов.

Офицер засмеялся.

— Лишних?.. Значит, есть известное число по положению?

— Ну конечно...

— Так, а всё-таки скажите, зачем вы туда бегали? Ведь не за покупками, так как вы ничего не несёте?

— Как же я буду покупать, когда мне никогда не дадут на руки деньги, а между тем, я думаю, что это страшно весело — покупать!.. Нет, я просто смотреть ходила выставки в магазинах... Это так весело!..

— И игрушечные магазины небось, смотрели?

— Конечно! — она помолчала и потом добавила тише. — Туда я даже заходила...

— За куклой?

— Нет, мне очень хочется для Боби сбруйку, я хотела знать только цену.

Она была так мила, сообщая этот секрет, что спутник её невольно прижал к себе её тоненькую ручку. Молодые люди дошли по Большой Морской до угла Гороховой. При повороте в улицу, зоркий глаз Ляли сразу заметил прекрасный экипаж с чёрными рысаками, стоявший у ворот первого дома.

— Вот и пришли, — сказала она на самом углу раньше, чем они дошли до кучера, неподвижно сидевшего на козлах, спиною к ним.

Она остановилась и вынула свою руку, как бы желая проститься с ним здесь.

— Людмила Александровна, мне нельзя зайти к вам?

Руки девушки, запрятанные в муфточку, нервно сжались, но на лице не выразилось ничего.

— Пожалуйста, зайдите, мы сейчас сядем обедать, вот мама-то удивится! Я опоздала, и вернусь с вами!.. — она наивно рассмеялась.

— Ах, Ляля, какой вы ребёнок! Да ведь это совсем неловко, а я и не подумал!.. Идите скорей, я провожу вас только до лестницы.

Они вошли во двор, повернули в подъезд направо, на первой площадке офицер остановился и взял молодую девушку за руку.

— Ляля, когда я могу прийти к вашей маме, просить эту ручку?

Девушка вся вспыхнула и так низко наклонила головку, что спрашивавший видел только её пушистые, мягкие как шёлк завитки волос.

— Ляля, что же вы так конфузитесь, дитя? Ведь вы знаете, что я вас люблю, ведь я давно умоляю вас позволить мне просить вашу руку, Ляля!

Молодой человек глядел на прелестную, маленькую девушку, стоявшую перед ним, и вид её робкого девического смущения переполнил его сердце любовью и нежностью. Вся кровь, казалось, отхлынула у него к сердцу, слова его прерывались, губы побелели.

— Ляля, когда я могу прийти к вашей маме?

— Подождите ещё неделю, — прошептала она, — мама всё время не в духе!.. Я боюсь...

— Вы боитесь отказа... Да? Радость моя!..

Он хотел обнять девушку, но та ловко — как змейка — выскользнула из его рук и побежала вверх.

— Приходите, Аркадий Павлович, на днях вечером играть в четыре руки! — сказала она, нежно засмеялась, перевесившись через перила, и дёрнула свой звонок.

Едва Ляля дотронулась до звонка, как дверь перед нею открылась. Очевидно, её ждали. Горничная шепнула ей:

— Уж как вас ждут, барышня!

Ляля махнула на неё рукой, сорвала с себя шляпу так, что густая волна белокурых кудрей побежала по её спине; бросив пальто, она быстро пробежала в коридор, влетела в зал с криком:

— Мамуня!

Со стула поднялся высокий, худой брюнет с большим носом и чахоточным румянцем на впалых щеках. Его сухие, лихорадочные глаза так и приковались к девушке.

— Ляля!.. — остановила её с нежным укором мать.

Девушка вспыхнула, смутилась, низко опустила головку, совершенно по-детски присела перед гостем и робко подала ему свою крошечную ручку, которую он нервно пожал холодной потною рукой.

— Ну вот, вы видите этого ребёнка, разве с нею можно говорить о серьёзном деле? — сказала мать с деланной шутивостью. — Поди сюда, дитя, отчего ты так опоздала?

— Учительница пения, мама, опоздала на целый час, весь класс ждал её. Потом, погода хорошая, я шла домой потихоньку, потому что не ожидала...

Она запнулась и, подняв голову, обдала некрасивого и немолодого гостя таким лучистым, нежным взглядом, что у него всё лицо пошло красными пятнами.

— Ну, Иван Фёдорович, я уйду, поговорите вы сами с нею. Моё такое убеждение, что, как ни молода она, но в таком деле должна быть единственным судьёй.

Мать вышла, бросив искоса любопытный взгляд на девушку, смущённо и робко стоявшую у стола.

Иван Фёдорович Вахрамеев, богатый биржевик, самонадеянный и авторитетный в свете, гордый своим богатством, стоял перед маленькою, белокурой девочкой как влюблённый школьник. Во рту его было сухо, и руки его дрожали, все слова и комплименты, которые он привык так обильно расточать перед девицами и дамами своего круга, замерли на его губах и, собравшись с духом, он глухим и хриплым голосом сказал:

— Людмила Александровна, я прошу вашей руки.

— Ах!..

Девушка снова обдала его радостным светлым взглядом и вдруг закрыла лицо руками.

Взгляд её синих глаз ожёг и ободрил Вахрамеева, он подошёл ближе и снова взял своими противными, холодными руками трепетные ручки девушки и отвёл их от её лица.

— Людмила Александровна, Ляля... умоляю вас, скажите мне, согласны ли вы быть моею женой, любите ли вы меня хоть немножко?

Ляля молчала, опустив свои пушистые, золотистые ресницы. Вахрамеев снова оробел.

— Я знаю, что вы слишком молоды и прекрасны для меня, но вы будете моим божеством, я богат, очень богат, все ваши капризы будут исполняться. Наряды, бриллианты, экипажи, лошади, всё, всё будет так, как вы захотите!

С каждым его словом головка Ляли приподнималась, и улыбка, как луч солнца, начинала скользить по её губам.

— Вы не очень строгий? — спросила она тихо.

— Дитя, дитя! — Вахрамеев ласково схватил её за руки. — Я буду вашим рабом!

— Я буду сама покупать всё, что мне нравится?

Вахрамеев залился счастливым смехом.

— Вы будете покупать всё, что вздумаете.

— А... — она лукаво взглянула на него и потупилась, — а... балы у нас будут?

— У нас?

Вахрамеев не выдержал и схватил в объятия девушку. Ляля прижалась головкой к его плечу, носик её упёрся прямо в бриллиантовую задвижку массивной золотой цепи, и ей был приятен холод драгоценных камней.

В комнату вошла Анна Петровна.

— Я вижу, что вы поладили? Господь да благословит вас! — сказала она, утирая сухие глаза, и хотела обнять дочь, но та, тихонько высвободившись из объятий жениха, снова закрыла лицо руками и убежала вон.

— Вы видите, — счастливая мать только развела руками, — как есть дитя! — Я удивляюсь только, как вы сумели её приручить, она страшно застенчива, её и подруги зовут дикаркой!

Вахрамеев принялся целовать руки своей будущей тещи.

— Пойдите, пойдите, — Анна Петровна отстранила его, — что вы победили сердце моей девочки, это я видела давно, но помимо этого есть дело. Вы знаете, Иван Фёдорович, что я вдова, и у меня ничего нет за Лялей.

— Перестаньте ради Бога, Анна Петровна, Людмила Александровна богата, потому что она моя невеста.

— Но у меня есть самолюбие. Иван Фёдорович, я не могу отпустить из дому дочь без ничего, я не могу не сделать несколько приёмов своим родным и знакомым, и потому я прошу вас пока никому не говорить о вашей помолвке, мало того, отложить вообще свадьбу на неопределённое время, пока я спишусь со своим братом, который живёт в Сибири и имеет там золотые прииски, он не откажет нам в помощи.

Вахрамеев побледнел. Он ещё не знал, что во всех экстренных случаях, как «дядя из Америки», выдвигался этот фантастический «брат из Сибири».

— Анна Петровна! Ради Бога, оставьте в покое всех родных! Людмила Александровна — моя невеста, и она ни от кого не может принять помощь, её приданое, все нужные приёмы вы будете делать из её суммы, и вот вам на первые расходы.

Он заторопился, вынул чековую книжку, написал в ней: «три тысячи» и передал Анне Петровне. Со вздохом, с неподдельной слезой радости, она приняла чек и затем, мало-помалу, согласилась на все желания Вахрамеева: свадьба была назначена через три недели.

Когда, наконец, ушёл счастливый жених, мать, держа чек в руке, отправилась к дочери. Как ни хорошо они знали друг друга, а всё-таки ей любопытно было взглянуть в лицо этому «ребёнку», который, как ловкий кормчий, ввёл-таки в желанную бухту корабль, так долго лавировавший у их берегов.

Ляля, с видом ленивой кошечки, сидела, вся сжавшись в клубочек, в глубоком кресле.

— Поздравляю, Ляля — молодец!

— Не с чем мама, — случилось ведь только то, что мы давно с вами знали.

— Так-то так, да всё-таки... И тебе... не противно?.. — спросила вдруг мать, скрывая под видом грубой откровенности острое желание заглянуть в сердце девушки.

— Не так мы воспитаны, мама, чтобы позволять себе такие нежности! — отпарировала дочь. — Вот нужда наша, долги, да извороты разные — противны донельзя!

— Правда, — согласилась мать. — Ты умная девушка! Смотри!

Она положила ей на колени чек.

— Что это? Три тысячи! — личико Ляли вспыхнуло, ямочки заиграли на щеках. — Вот это хорошо! — она вскочила на ноги и запрыгала с чеком в руках. — Вы, мама, возьмите две тысячи на свои обороты и всё необходимое, а одну тысячу я буду тратить сама, лично на себя... Вот это весело!

— Послушай, Лялинька, — начала мать вполголоса, — ты ведь знаешь, что он думает — тебе не больше семнадцати, а как узнает, что все двадцать?..

— А зачем же ему узнавать это, мама? Разве вы не сумеете дать причётнику, ну, кому там нужно... рублей сто, чтобы они вписали в церковной книге шестнадцать. Вы узнайте, я уверена, что можно: с деньгами всё можно сделать!

— Я думаю, что ты права... Ну, а как ты развяжешься со своим запасным женихом, Аркадием Павловичем?

— Уж тут, мама, придётся вам пострадать, потому что, понятно, я буду жертва «обстоятельств» и вашего деспотизма!

— Так-то так, а только я тебе советую: убери ты его пораньше с дороги Вахрамеева, чтобы он не наделал беды.

— Не наделает!

— А он тебе нравился? — мать пытливо заглянула в глаза дочери, но эти прелестные глаза были глубоки, сини и пусты как небо, она не прочла в них ничего.

— Вот что, мама! Вы это оставьте и лучше послушайте меня... Вы будете жить с нами и никогда ни в чём не будете нуждаться, но вот мои условия.

Лицо Людмилы Александровны вдруг стало так холодно и серьёзно, что мать притихла, поняв сразу, что тут идёт не шуточное условие.

— Во-первых, вы будете прекрасной тещей для Вахрамеева, заботиться будете о нём *во всём*, до мелочей: его я прямо сдаю вам на руки, мне будет не до того; второе, вы будете вести всё наше хозяйство и не дадите нас очень обкрадывать... Третье, вы всегда будете мне другом и помощником во всём. Согласны?

Мать и дочь хлопнули по рукам и поцеловались.

— Вот: если бы все женщины, мама, понимали так друг друга, как мы с вами, они завоевали бы мир! — сказала Ляля и рассмеялась.

Через три дня, в полутёмной зале, освещённой одною лампой, прикрытой громадным жёлтым абажуром, у рояля сидел Аркадий Павлович и в полтона брал какие-то аккорды, грустные, как малороссийская песня. Час тому назад здесь же был Вахрамеев, но узнав, что у невесты мигрень, он оставил ей ворох цветов, конфет и уехал, умоляя никого не принимать до завтрашнего дня.

Аркадий Павлович не услышал, но сердцем почувствовал за собою какой-то шелест и обернулся: он замер.

Посреди зала стояла Ляля в белом капотике с распущенными по плечам длинными, густыми кудрями, вся бледная, тоненькая как русалка. Молодой человек бросился ей навстречу, девушка робко оглянулась кругом и, не видя никого, протянула ему обе руки и с коротким рыданием на минуту прильнула к его груди.

— Ляля, Ляля, жизнь моя... что с вами? — он почти на руках донёс её до кресла и усадил, а сам опустил на колени перед нею. — Что с вами?

— Аркадий Павлович! Мама думает, что я лежу в кровати, потому что я сказала, что у меня очень-очень болит голова... Мама вчера получила письмо от дяди из Сибири, он... — Ляля заплакала, — он умер... у него осталась семья... Мама говорит, теперь мы нищие... Она ещё говорит, у неё долги. Вы

знаете, теперь я не буду учиться и теперь ничего-ничего нельзя... даже кушать мы не будем так, и платьев мне шить не будем... Аркадий Павлович! — глазки её вдруг заискрились и ямочки показались на щеках. — Я только ждала вас... ведь вы богаты, да?

Аркадий Павлович побледнел.

— Вы сейчас скажете маме, что хотите жениться на мне... что вы возьмёте к себе мою маму и жену дяди, когда она приедет, и что мы никто никогда не будем нуждаться... а напротив, будем жить весело и хорошо... Да?

Молодой офицер молчал, ему казалось, что он тонет, и вода уже шумит у него в ушах.

— Вы знаете, — продолжала Ляля, — я всё обдумала: мы будем выезжать, веселиться... я буду много-много покупать, а мама... и тётя будут заведовать нашим хозяйством... Да? А вот и мама... — и Ляля на цыпочках выбежала из зала.

В комнату вошла Анна Петровна.

— Аркадий Павлович, здравствуйте! Простите, что так долго заставила вас ждать. Ляля больна, а я совсем расстроена. Мой брат в Сибири умер, — она подняла платок к глазам. — Да, Аркадий Павлович, тяжёлое испытание, у нас, откровенно говоря вам, всё-всё держалось только помощью брата, теперь мы нищие... Ляля, вы знаете, это ребёнок! Нежна, избалована, понятия не имеет о жизни и привыкла к роскоши... Я всю свою пенсию, всё достатки, всё клала на неё, я кругом в долгу.

— Анна Петровна, — Аркадий Павлович едва мог говорить от волнения, — у меня ничего нет кроме службы и небольшой поддержки от отца... Я хотел просить у вас руки Людмилы Александровны...

— Дорогой мой! — Анна Петровна взяла двумя руками голову офицера и поцеловала его в лоб. — Видит Бог, я не желала бы лучшего мужа для своей дочери, но подумали ли вы, что вы на себя берёте? Я виновата... я воспитала дочь свою не по средствам, но так хотел мой брат из Сибири, он много помогал нам... ведь Ляля от рождения не знает других чулок, кроме шёлковых... это мелочь, но она даёт тон всему... Ляля никакого отказа не перенесёт. Можете ли вы доставить ей всё? Да и я куда денусь? Без меня она жить не будет!

— Как же теперь вы будете жить?

— За Лялю вчера посватался Вахрамеев...

— Вахрамеев? Да ведь он... И Ляля, то есть Людмила Александровна?

— Она слышать не хочет и говорит, что вы тоже дадите ей и лошадей, и бриллианты, и поедете с нею за границу... — мать засмеялась.

— Анна Петровна, ваша дочь любит меня...

— Ляля? Да ведь это дитя, разве она умеет любить? Она любит Боби, кукол, она будет обожать Вахрамеева, который будет её баловать и поклоняться ей.

— Анна Петровна! Да ведь это безнравственно!

— Да, безнравственно взять из семьи девушку-ребёнка, отнять от неё все радости, разлучить с матерью и обречь на нужду! Это я считаю безнравственным... Ляля зачахнет и умрёт в нужде.

Аркадий Павлович схватил свою шапку и как безумный выбежал вон.

— Покончили, мама? — спросила Ляля, входя в зал.

— Покончила, — махнула рукой Анна Петровна. — Понятно, если бы ты прозевала Вахрамеева, пришлось бы тебе идти за него, потому что ещё год — и медлить уже нельзя. Не всегда ты будешь выглядеть таким ребёнком... и теперь уже сколько возни с этим... Ты не обижайся, — она поцеловала дочь. — Ты умная девушка и понимаешь, что всякий должен иметь при себе оружие. Благодарю Бога, Ляля, что я правильно воспитала тебя, я с детства держала глаза твои открытыми, вот почему ты и понимаешь жизнь и сама можешь выбирать то, что тебе надо. Я убеждена, что ты проживёшь хорошо, без драм, без переворотов, и муж твой будет счастлив, потому что ты умна и выше всего поставишь уважение и роскошь, эти два первых блага в жизни.

— Да, мама, что правда, то правда, а я в жизни не запутаюсь, не увлекусь никем и кукушку свою, Ивана Фёдоровича, ни на какого ястреба не променяю, — она засмеялась.

Через три недели в одной из аристократических домовых церквей венчали Лялю и Ивана Фёдоровича Вахрамеева. Когда невеста вошла в церковь, общий шёпот восторга пробежал в толпе: «Ребёнок, совсем ребёнок, и какая прелесть!»

— Вот так бутон! — шамкали два сенатора, потирая руки.

«Мадонна чистая», — думал жених, глядя на большие, прозрачно-детские глаза своей невесты, на её пышные, белокурые волосы и крошечный пунцовый ротик, чуть-чуть приоткрытый.

Она тихо, но ясно сказала: «да», колечко её было так мало, что жених даже не мог попробовать надеть, и он был счастлив, счастлив как никогда в жизни.

Когда Ляля, окружённая восторгом похвал, села в свою карету, и муж запахнул на ней ротонду из тёмных соболей, она тоже была счастлива.

Только Аркадий Павлович, лёжа в тот же вечер ничком на своей кровати, рыдал, рыдал как безумный, и не мог понять, что он тоже счастлив: миновала его та чаша, к которой он так жадно тянулся губами.

ВАРЯ БРОНИНА

Группа гимназисток, в форменных коричневых платьях, с ранцем за спиной или в руках, остановилась на перекрёстке двух немощёных улиц северного провинциального городка, одна улица бежала вверх и загораживалась неуклюжим розово-жёлтым домом механического завода братьев Гей, другая — шла прямо и вдали манила большой городской рощей, стоявшей теперь в своём пышном весеннем уборе.

— Так в 6 часов сбор у меня, слышите? Да? Слышите? — кричала рыжая, тоненькая Аня Свиридова, теребя то ту, то другую подругу за рукав или складки платья.

— Отстань, не оглохла! — крикнула на неё Заводская, толстая, краснощёкая блондинка, целовавшаяся с подругой.

— Варя Бронина, ты будешь, да? — пристала рыженькая к брюнетке, высокой, стройной, с длинной, густой косой. — Варя, если ты не будешь, я, ей Богу, не поеду, пусть всё расстраивается, я не поеду!

Бронина, о чём-то жарко говорившая с другой гимназисткой, обернулась к Свиридовой.

— Да с чего ты взяла, что я не поеду кататься на лодке? Если только дома отпустят, буду непременно.

— Не отпустят — сама убежишь, ведь с нами будут многие, в том числе и «он»! — громко засмеялась разговарившая с Варей, и вдруг, схватив Бронину под руку, шепнула, — тише!.. идёт! Не вытерпел! Каждый день здесь проходит в 4 часа, отлично знает, что это наш прощальный пункт!

Все оглянулись. Мимо болтавших девочек проходил молодой человек среднего роста, белокурый, плотный, с короткой шеей, гладко остриженными волосами, из-под щетины которых просвечивала розовая кожа; поравнявшись с группой девочек, он вежливо приподнял рукой, затянутой в тёмную перчатку, серую, мягкую шляпу и прошёл, не останавливаясь, не подчёркивая ни для кого особенным взглядом свой поклон.

— То есть, понимаешь, Варя, если бы он меня на двух коленях, понимаешь, на двух, просил выйти за него замуж, не пошла бы, ей Богу, не пошла бы! — взволновалась рыженькая гимназистка, глядя в широкую, круглую спину удалявшегося молодого человека.

— Вот манера у Свиридовой — божиться! Да он тебе никогда — даже на одном колене — ничего не предложит, а кому предложит — тот, наверное, примет.

— Если вы на меня намекаете, Верёвкина, то ошибаетесь, я тоже не побежала бы за этим господином! — вспыхнула Бронина.

— Да вам и нечего бегать за тем, кто за вами бегаёт, а только своим равнодушием никого не обманете, партия завидная... товарищ прокурора!

— Верёвкина! — рыженькая Свиридова бросилась к говорившей. — Ну, хоть разблестящая-блестящая партия! Да вы на него-то взгляните: разве это человек? Разве в нём есть душа? Ведь это кодекс ходячий, принцип в сапогах! Вы знаете, я его боюсь, ну вот сама не знаю, а боюсь, точно он ради принципа человека съест может.

— Ну вы и бойтесь, Свиридова, а некоторым бояться и выбирать не приходится... До свидания! Круглова, ты со мной? — и маленькая брюнетка с острым носом и красивыми блестящими глазами, пожав руку Заводской, взяла под руку Круглову и повернула в гору.

Варя рванулась за ней. Ей хотелось крикнуть: «Вы это для кого сказали, кому?..» Но она взглянула на приподнятые плечи и задорно закинутую голову уходившей маленькой брюнетки, и, точно боясь нового оскорбления, вся вспыхнула, повернулась, и, ни с кем не простившись, пошла к роще.

— Варя, Варя, стой, я с тобой! — догоняла её Свиридова. — Вот язва эта Верёвкина. Она тебе никогда не простит Лобанова, никогда! Варя, ты плачешь?

— Ещё что? — Варя гордо тряхнула головой и с таким суровым видом остановила на Свиридовой свои тёмные, большие глаза, полные слёз, что Свиридова отвернулась.

— Нет? Ну, тем лучше, мне показалось! — и рыженькая девочка стала поспешно болтать обо всём, что попадалось на дороге.

В маленьком домике, окружённом спереди густыми кустами, ограждавшими только от пыли, а сзади — большим, чрезвычайно чистым, как бы лизаным садом, жил почтмейстер Бронин с женой Анной Никитичной и дочерью Варей, кончавшей курс в городской гимназии. Бронин был мужчина тяжёлый, пивший водку ради жажды, а квас и чай — как лекарство; каждый домашний разговор он начинал руганью и кончал, в счастливых случаях — плевком, в экстренных — потасовкой. Анна Никитична была «пила» и с особым наслаждением пилила дочь, пилила прислугу, мужа, но до известной границы, т.е. до его пятой рюмки, после которой было опасно вообще держаться на его глазах.

Варя, Бог знает, в силу какой наследственности, родившаяся красивой, тихой девушкой, кроткой и кокетливой, пылкой и молчаливой, росла совсем одинокая, читая, мечтая, в тиши завязывая и развязывая свои романы; свободная в своих поступках и стесняемая до последней степени в мелочах, она приучалась обходиться без совета, без контроля и без доверия, с которым ей не к кому было обращаться. Последняя весна была особенно тяжела Варе — ей минуло 17 лет и незаметно для окружающих, но с внутренним страдани-

ем, с непонятными ей самой слезами, тоской и раздражительностью, она перешагнула границу, резко отделяющую ребёнка от девушки. В этот тяжёлый, чисто физический перелом, который, однако, так неразрывно связан с психическим миром девушки, ей не хватало ласки и доброго нежного руководства матери, и она больше, чем когда-либо бежала из дома и...

— Варя! Ва-аря, обедать!

По всему садику прокатился раздражительный зов Анны Никитичны. Варя, мывшая руки в своей комнате, схватила со стены полотенце и, утираясь им на ходу, бросилась к окну, выходявшему в сад.

— Иду! Иду!

В маленькой столовой, узкой и темноватой, за столиком, покрытым не особенно чистой скатертью с разнокалиберной «домашней» посудой — так как предназначенная для гостей стояла запертой в стеклянном шкафу — сидела вся семья и молча ела суп.

— Ты что же это принцессой вырядилась, или опять гулять? — Бронин насмешливо оглядел серое шерстяное платье, ловко обливавшее стройную фигуру Вари.

Варя подняла на отца глаза.

— Мы в 6 часов собираемся в роще, хотим кататься на лодке.

— С родителями-то скучно образованным детям, так вот они и мыкаются весь день-деньской по разным прогулкам да гулянкам.

— Мыкаются, да и домываются до чего-нибудь! — расхохотался Бронин, выпивая третий стакан водки, — Допляшешься!

— Эх, нашёл чем пугать, на то есть мать дура у учёных барышень, барышня с кавалерами интересными кашу заваривает, а расхлёбывает обыкновенно маменька.

Варя, привычная к таким разговорам, сидела бледная, чуть-чуть отвернув голову к окну. Ах, как хорошо понимала она, что ни мать, ни отец пальцем не пошевелят, чтобы помочь ей «расхлебать» какую бы то ни было кашу.

— Ты это с каким же кавалером кататься будешь?

— Ох, Николай Петрович, не спрашивай, с хорошим, с хорошим! — хихикала Анна Никитична. — Вязников, верно, первый, этот, гляди, годам к 30-ти гимназию кончит; потом Иванов, что из кадетского вышел-то, балбес 18-ти лет, потом учительшка какой-нибудь...

— Не таракти, Анна Никитична! Ну-ка, Варвара, скажи сама, кто у вас там первым кавалером будет?

— Я не знаю, папенька, право, не интересовалась, слышала только, что Владимир Иванович Ершов будет.

Отец и мать переглянулись.

— Владимир Иванович? Ну что же, это такой молодой человек, которого нельзя не уважать, молод и товарищ прокурора... Такого кавалера не дурно было бы и того... под ноготок. Так что ли, мать?

Анна Никитична тоже просияла.

— Да, человек с деньгами, и тебе, Варя, не трудно было бы и обворожить его. Ведь тает, тает перед тобой! Ну, так ты что же в этом сером платье-то, что монахиня!

— Платье как платье, и, по-моему, хорошее, — Варя, поцеловав руку отца и матери, отправилась в свою комнату и встала у открытого окна.

Садик, безукоризненно содержанный матерью, лежал перед ней, чистые, жёлтые дорожки сходились правильными линиями, от куртин незатейливых цветов шёл мягкий аромат резеды и горошка, большие анютины глазки наивно и ласково глядели в небо, кусты сирени тянули всюду свои пахучие, лиловые и белые грозди, ряд густых вязов охранял последнюю широкую аллею, да липы кой-где стояли отдельными шатрами; всё остальное место, где только позволяла земля, шли гряды правильными тупыми линиями, как ряды могил; пучки салата, султаны укропа и перистая зелень моркови, прерывались головками темно-красного мака. Всё было красиво, холодно, утилитарно, кроме задней аллеи вязов; и ни одного места той таинственной тени, где так хорошо шепчутся слова любви, где на минуту можно оторваться от всего света. Скучно, банально скучно было в прилизанном садике-огороде, и поневоле рвалась из него Варя в поле, в лес, к реке.

— Кис-кис-кис! — позвала она красивого пёстрого кота, кравшегося за какой-то невидимой добычей по дорожке, — Кис-кис, Васька!

Кот повернул к ней голову и неподвижно уставился круглыми, жёлтыми глазами с продольной чёрточкой зрачка. Варя спустила из окна одну из своих длинных тёмных кос и крошечным пунцовым бантиком, вплетённым в конце, начала медленно водить по спинке скамейки, стоявшей под окном.

Кот, припав к земле, тихо повёртывая голову, следил за бантиком, одна из лап его инстинктивно, то вытягивалась вперёд, выпуская когти, то снова пряталась под пушистую грудь.

— А ну-ка, ну-ка, поймай! — и кот вдруг показался девушке похожим на товарища прокурора...

— Ну-ка, поймай!.. Ах! — Варя не успела отдёргнуть косу, как Васька одним хищным прыжком был уже на спинке скамейки и, вцепившись в бант, почти повис на косе.

— Брысь! — она ударила ладонью по голове кота и тот, так же быстро слетев со скамьи, исчез в ближайшем кусте.

— Вот хищное животное! — проговорила Варя, относясь не то к Ваське, не то к своим мыслям и, поправив причёску, надела матросскую шляпу и отправилась в рощу, на сборный пункт гимназисток и их кавалеров.

Роща, куда направилась весёлая компания молодёжи, одна в городе знала, зачем Варя так часто прошлую весну и лето прибегала в неё. Кусты шептались, при виде её, деревья качали верхушками, птицы громко и долго кричали и спорили, измятая трава подымалась, над ней трепетно кружились любопытные бабочки, смутно жужжали толстые пчёлы, резко, озлобленно трещали кузнечики, но роща хранила всё тот же спокойный, таинственный вид храма весны и тайны Вари не выдала никому. За то и любила Варя тёмную, прохладную городскую рощу, где липы, черёмуха, берёза и осина давали целую гамму зелёных тонов, где чёрный дуб служил им фоном, и серебряный тополь — бликами.

Роща не судила Варю, сюда девушка прибегала, возмущённая деспотизмом отца, который раздражался в семье не только властью слова, но, случалось, и властью грубой физической силы. Здесь звонко, радостно смеялась Варя, когда удавалось ей вырваться из душной, глупой домашней атмосферы.

Вот там, под широким, трепетным ясенем стояла она в день первой встречи, вся розовая, опустив ресницы на горевшие счастьем глаза, бессознательно теребя кончик алой ленты кушака; а напротив, под той молодой, стройной осинкой, что не в меру вытянулась и через бледные берёзки вдаль заглядывает — стоял он, такой же молодой и стройный, как деревце; а в последнее свиданье, вот под этой кудрявой рябиной, убранной в крупные, красные гроздья, холодным осенним утречком, Варя, охватив руками её корявый ствол, рыдала, рыдала своим первым молодым, страшным горем, а он мелькал уже в прогалине леса, там, у выхода в поле, неясным пятном, как бы перерезанный ветвями, преграждавшими ему дорогу. Сколько раз в то лето девушка, прибегая первая на свидание, поджидала как брызнет солнышко золотыми лучами из-за зубчатых верхушек елей, охвативших рощу своим сторожевым кольцом; как проснётся птица и подыметя отовсюду первый, радостный щебет и пенье; польётся трель жаворонка, повисшего над рощей в яркой синеве неба. Охваченная счастьем и молодой силой, девушка вдруг бросалась к какому-нибудь дереву с разбега, грудью прижималась к нему, обвивала руками ствол и, смеясь, жмурясь, принимала на лицо, на волосы крупные капли росы. Сколько раз Варя, бледная, вытянувшись, как тонкая веточка, поднимая к небу голову, едва дыша, слушала соловьиную песню, или, лёжа в высокой траве, нагретой солнцем, тянулась губами от цветка к цветку, целуя белые, алые, синие, пёстрые цветочки, шепча им слова любви и ласки. И всю ту весну, и всё прошлое, жаркое лето — в роще с ней был тот, который

открыл ей смысл песни соловья, сладость дыхания ветра и тайну робкого шороха травы.

Осень, как злая волшебница, сняла зелёные чары с рощи, развеяла холодным дыханием аромат цветов, разнесла по листочкам их пёстрый убор, разогнала хоры птиц и льдом дохнула в Варино сердце.

Он уехал, не высказав ей того слова, которого она ждала, закрыв тем перед ней всё будущее, и теперь вся надежда девушки была на то, что роща одна знает её тайну и не выдаст её, что все намёки, насмешки подруг были только зависть и мелкая злоба, наталкивавшая их на догадки и предположения.

Отец и мать Вари ничего не знали из того, что пережила и перестрадала девушка, зато они не проглядели отрадного факта, что один из лучших женихов города, товарищ прокурора Ершов, стал явно ухаживать за Варей, и решились не дать девушке прозевать такую партию.

Весёлой гурьбой и отдельными парами компания, катавшаяся в лодках, возвращалась в город. Варя, сама не замечая, как это случилось, шла теперь одна с товарищем прокурора Ершовым.

— Я давно искал случая говорить с вами, Варвара Николаевна, наедине, — начал молодой человек, поглядывая в бледное, грустное личико девушки. — Отчего вы так смотрите на меня, разве вам страшно то, что я желаю сказать Вам?

Варя чуть-чуть отодвинулась от говорившего и нервно рассмеялась.

— Ничуть не страшно, и я ничего особенного не жду услышать от вас, Владимир Иванович. Да разве мы наедине?

Она оглянулась и тут только заметила, что все другие пары при выходе из рощи — нечаянно или нарочно — одни ушли вперёд, другие отстали.

— Не возьмёте ли вы мою руку, Варвара Николаевна, одной неловко идти, здесь дорога неровная.

— Где же все? Владимир Иванович, не подождать ли нам? — робко заметила девушка.

— Как я люблю ваши опущенные глазки, этот тихий голосок! Надо вам знать, что я ничего не ценю так в девушке, как чистоту, кротость и застенчивость.

— Владимир Иванович, право, я думаю...

Но сбить Владимира Ивановича была задача нелёгкая.

Грустная, кроткая, красивая Варя нравилась ему, правда, приданное у неё было небольшое, но его прельщало взять девушку, которая всем будет обязана ему — такая не зазнается, формулировал он в душе и решил сделать предложение Варе.

— Варвара Николаевна, я знаю вас всего с осени прошлого года, когда я был переведён в этот город; ваша постоянная серьёзность привлекла на себя

моё внимание, смею уверить вас, что в Петербурге я был всегда избалован вниманием к себе дам и девиц, но я не люблю бойких и слишком весёлых особ, мой идеал — найти себе подругу жизни малоречивую, тихую, застенчивую. Застенчивость есть ореол чистоты, и заметьте, я не ищу приданного.

— Владимир Иванович...

— Что вас смутило, Варвара Николаевна? Я человек серьёзный, и мои слова не должны пугать вас. Когда ещё я кончал университет, я составил себе программу жизни и даже наметил места, которые последовательно должен занимать, и год, когда чего могу достигнуть. Почти всё сбылось, даже и то, что я теперь хочу сказать вам, идёт по программе моей жизни. Прошу вас, обопритесь на мою руку.

Ершов замолк на минуту, с наслаждением проникаясь трепетом руки, лежавшей на его рукаве. Ни одной секунды он не приписывал смущения и страха девушки другому чувству, кроме любви к себе. Рассчитывая прожить в городе несколько лет, Ершов порешил жениться, и очарованный собой, своим быстрым успехом по службе, перебрав в уме всех девушек, остановил свой выбор на самой красивой, причём доводы его были такие. Первое — девушка 18-ти лет кончает курс, значит, так сказать, нераскрывшийся бутон: идеальная невинность — это была его *idée fixe*; второе — бедная, из недоброй, взбалмошной семьи, без сестёр и братьев, т.е. почти сирота, которая без сожаления забудет родной дом. Наконец — в самой девушке его привлекала грусть, причину которой он не отыскивал, и робость, которую без анализа принимал за основу её характера.

Варя шла под руку с Ершовым, не поднимая на него глаз. К чему? Она хорошо знала его банальное, самодовольное лицо, его жирную фигуру; ни нежности, ни даже симпатии он не внушал ей, но она рвалась из дому и, в силу своих собственных соображений, решила выйти замуж за первого, кто сделает ей предложение.

Ершов же, по словам отца и матери, был прекрасная партия.

— Владимир Иванович... — голос девушки дрожал, — я бы хотела знать... отчего вы так говорите со мной?

— То есть? — Ершов засмеялся, — Вы сами не можете разобрать, что руководит мною? Да ведь я целую зиму изучал вас, Варвара Николаевна, и теперь прекрасно знаю всё, что касается вас.

— Знаете? — Варя вдруг откачнулась в сторону и подняла на него глаза.

— Вы испугались? Чего? Разве боитесь, что угадал ваш секрет?

— Угадали секрет? — Варя едва дышала.

— Не бойтесь, не бойтесь, не конфузьтесь, придёт время, вы сами скажите мне его.

— Владимир Иванович, а если бы у меня в самом деле был секрет или тайна?

Тон девушки не понравился Ершову.

— У вас — тайна? Вы шутите, Варвара Николаевна, у такого молодого существа как вы, не может быть тайны, которую не могла бы она сказать всем. Если это любовь — он локтем прижал к груди её руку, то эту тайну вы скажете перед алтарём. Я, например, никогда не женился бы на девушке, у которой была в прошлом тайна.

— Не женились бы?

— Нет, конечно. Душа девушки должна быть кристалл, сквозь который просвечивает её непорочность. Молодая девушка — это чистый лист бумаги, на котором муж её подпишет своё имя. Так, Варвара Николаевна?

— Так... я не знаю. Мы, кажется, дошли, Владимир Иванович, вот и наша калитка. Вы не зайдёте? У нас огонь, наверное, ещё не спят.

Ершов выпрямился, поднимая высоко над головой шляпу и предоставив луне осветить своё широкое лицо с незначительными чертами, полными самонадеянности и самодовольства, торжественно проговорил:

— Вы позволите, Варвара Николаевна, мне просить вас передать вашим родителям, что я буду иметь честь быть у них в 12 часов, в 12 часов дня!

Варя поняла значение этих слов, и голос её задрожал, когда она тихо проговорила: «Да».

Ершов шёл назад, помахивая шляпой и повторяя: «Её тайна, тайна! Я хорошо понимаю её тайну — она влюблена в меня, вот и всё!»

Проскользнув в калитку, девушка, не оглядываясь, прошла маленький палисадник и отворила дверь в прихожую. Сразу домашняя, неприветливая атмосфера приняла её в свои объятия: из столовой, где был огонь, несло пивом, и слышен был пьяный говор обыденных гостей отца, игравших в винт; из кухни доносился чад жареных котлет и монотонный голос матери, пиливший кухарку. Варе вдруг показалось, что всё, всё будет лучше, чем эта неизменная, мещанская жизнь. Свой домик, уютная обстановка: рояль, цветы, гости-подруги мелькнули в воображении девушки. Сам Ершов, ничего не пивший и всегда так франтовато одевавшийся... «И ведь любит же он меня, если хочет жениться? Конечно, любит!» — и, гипнотизируя себя этими фразами и картинками, девушка, не встречаясь ни с кем, пробралась к себе и легла спать.

* * *

На окне, в старшем классе городской гимназии, болтая ногами, сидела Свиридова и долбила хронологию Франции. Варя стояла возле неё, облокотившись на подоконник, и глядела на улицу.

— Людовик XI, XII, XIII, XIV, XVI, XV, X, VI! Да сколько же их всех было-то? Варя молчала...

— XVII, XVIII... не дотянули до 20-ти! А? Не хватило терпенья, как это тебе понравится? А?

Свиридова нагнулась и поглядела в глаза Вари, та стояла, казалось, не видя, не слыша ничего, глаза её с совершенно пустым выражением были прикованы к стене противоположного дома.

— Да ты где? Ведь я распинаюсь, говоря с тобой, а ты на меня ноль внимания! Варя!

Девушка вздрогнула, быстро повернулась к подруге и глядела на неё такими испуганными глазами, точно проснулась среди совершенно чужой ей обстановки.

— Здравствуйте, как поживаете? Вы откуда? — Свиридова, заливаясь весёлым смехом, бросала ей вопрос за вопросом и трясла за руку.

— Ты это, с которым из Людовиков беседовала, а?

— Который час, Аня, теперь?

В голосе Вари была такая мука, что Свиридова сразу стихла, вытащила из-за кожаного кушака чёрненькие часики и поднесла их к лицу подруги.

— Двенадцать!

— Ах! — Варя схватилась рукой за подоконник, ей казалось, что классная комната колыхнулась под её ногами.

— Да что с тобой? Говори ты толком, ради Бога!

— Вы больны, Бронина? — перед Варей стояла Верёвкина и глядела ей пристально в глаза.

— Вы чего суётесь, куда вас не спрашивают! — накинулась на неё Аня. — С участием, что ли, явились?

— Я всегда знала, что вы глупы, Свиридова, но я не с вами говорю. Вы больны, Бронина? Хотите, я провожу вас домой?

Заводская — здоровая, высокая девушка, встала со своего места и тоже подошла к окну.

— Чего вы пристали, Верёвкина, ведь если Бронина больна, так её и Свиридова сведёт домой, я думаю; она ближе ей как друг.

— Ну, и вы туда же! Я подошла к Брониной потому, что хотела поговорить с ней. Вчера я получила письмо от брата, из Петербурга: он пишет, что товарищ его, Лобанов... Вам опять дурно, Бронина?

— Ступайте вон, Верёвкина! — Свиридова охватила рукой плечи Вари. — Злая вы, вот что! Сами были влюблены в Лобанова, а он ухаживал за Варей, вот вы до сих пор всё ещё этого переварить не можете.

— Он ухаживал? Ха-ха-ха! — злобно расхохоталась Верёвкина. — Да он две недели тому назад уже женился, вот об этом-то и пишет брат, да вот — свадебный билет! — и, вынув из кармана небольшую атласную карточку, напечатанную золотом, она протянула её Варя, но Свиридова оттолкнула её руку.

— Оставь, Варя, оставь, не трогай!

— Бронина, бросьте, не обращайтесь внимания! — увещевала Заводская. — Ну, конечно! Затеяли скандал, все бегут! И это накануне последнего экзамена!

К спорившим, действительно, бежали со всех мест гимназистки, на правах уже кончивших курс, не посещавших больше гимназии, и сегодня собравшихся в старший класс, человек десять, за справками и книгами.

— В чём дело? О чём спорите? — раздались вопросы.

— Да ни в чём! — Заводская загородила собой Варю. — Бронина переутомилась, ей и стало дурно — и вдруг, шагнув вперёд, она взяла за руку Верёвкину. — Пойдёмте-ка со мной, мне надо ещё с вами переговорить.

— Как хотите! — Верёвкина медленно вкладывала в конверт атласную карточку.

Варя Бронина, отстранив рукой Аню, высокая, стройная, с пылающими щеками и лихорадочным блеском глаз стояла перед ними.

— Я не имею сейчас передать вам, Верёвкина, такой же карточки, но я думаю, вы не откажитесь танцевать на моей свадьбе! — и, обращаясь ко всем, добавила:

— Я выхожу замуж за Владимира Ивановича Ершова!

Горькое «ох», вырвавшееся из груди Ани Свиридовой, пропало в общих шумных поздравлениях. Заводской удалось-таки увести с собой Верёвкину, раньше, чем та сказала ещё что-нибудь, а Варя, собрав дрожащими руками с подоконника тетради и книги, связывала их вместе.

— Пойдём, Аня, пойдём, ради Бога! — шептала она подруге, и рыженькая Свиридова, разровняв Людовиков, на ходу надевая кое-как свою шляпу, спешила за ней вон из гимназии. Варя так быстро шла по улице, что маленькая, худенькая Свиридова почти бежала за ней.

— Я к тебе, да? Ведь у тебя никого нет? — спрашивала Варя на ходу подругу.

— Конечно, никого, конечно, ко мне! Да не беги так, Христа ради, Варя, ведь на нас собаки лают, прохожие оглядываются, того и гляди дворники побегут.

Варя умерила шаг и взяла под руку Свиридову.

— Ах, Аня— Аня!

— Не ахай ты, ради Бога, на всю улицу, вон учитель Вихров уж начал переходить с той стороны к нам, улыбается... понял, что девицы в отчаянии.

Да не гляди вправо, сейчас привяжется с комплиментами. Ну, пришли, славу Богу!

Девушки нырнули в калитку, и Аня немедленно очутилась в объятьях громадного пса, сорвавшегося с крыльца ей навстречу.

— Урод, цыц, убьёшь! Ну, так и есть, снова облизал всё лицо, вот наказание.

— Да кто кого облизал-то? Разве вас разберёшь, когда вы жить друг без друга не можете? Иди ко мне, Варюша, не жди её, непутёвую, она теперь с Цыганом полчаса здороваться будет.

— Иду, Марья Андреевна, иду, — Варя подняла голову к окошку флигелёчка, из которого слышался добрый старушечий голос, — Здравствуйте, Марья Андреевна, как здоровы? — и тут же, подойдя к лестнице, она зашептала раздражительно Ане, — Да брось ты собаку! Ведь не в гости же я, в самом деле, пришла к твоей тётушке.

— Сейчас, сейчас, Варя! Цыган, на место! — грозно прикрикнула она на неуклюже и радостно прыгавшую собаку, и, почти втолкнув Варю в прихожую, проскользнула туда за ней и захлопнула входную дверь у самого носа опешившего Цыгана.

— Иди прямо в мою комнату, Варя, я пойду, предупрежу тётю, чтобы она не трогала нас и прислала нам чаю.

Когда Аня, переговорив с тёткой, у которой жила, вернулась в свою комнату, Варя ничком лежала на её кушетке, вся, вытянувшись, уткнув голову под вышитую подушку, она рыдала, стараясь заглушить стоны и крики, готовые истерически вырваться из наболевшей груди.

Аня заперла плотно за собой дверь и встала на колени около плакавшей.

— Варя, Варюша, не плачь! Не плачь, милая, хорошая!

Девочка гладила по голове, по спине подругу и всё повторяла: «не плачь, милая!». Не замечая, что у самой слезы ручьями лились по лицу, непокорные завитки рыжих волос то и дело лезли ей в глаза, в рот, она отбрасывала их и мокрые пряди прилипли на лбу и у щёк.

— Ах, Варя, Варя, зачем ты дала ему слово? Ведь не можешь же ты любить его! Варя перестала плакать, села на кушетку, спустив ноги.

— Ты говоришь: зачем? А как же я могу отказать, ведь дома у нас что? Трактир какой-то, от пьяных товарищей отца — покоя нет, от матери — слова ласкового не слышишь, вот тот год весной, да летом тебя здесь не было. Знаешь ли ты, как я скучала? Что со мной было, и сама не могла понять, без болезни больна была, ночи не спала, в груди точно дрожит всё, то в жар, то в холод бросает, точно дура какая, то рыдать, то хохотать хочется, за ласку, за слово тёплое — кажется, всё бы отдала... да и отдала!..

— Что ты говоришь, Варя? Ну чего опять рыдаешь?

— А теперь Верёвкина намёки делает, слышала? Ведь травит она меня, и ты думаешь, она одна? Нет, всюду, всюду смеются, да ещё теперь, вот как стал ухаживать Владимир Иванович, так как-то язык прикусили.

Ну, а если слухи какие дойдут до отца с матерью, ведь тогда что будет, тогда что будет?

— Да что же могут сказать-то, что Лобанов за тобой ухаживал? Господи, вот преступленье! Да если за мной кто будет ухаживать, я сама всем с гордостью скажу, только бы начал кто.

— Да ведь он мне в любви объяснялся... Ведь он целовал меня, ведь я...

— снова Варя зарыдала и забилась в подушках, — Ах, какой же он мерзавец: целовал и женился на другой!

— Да, плюнь, Варя, что от его поцелуев, лишаи что ли остались на твоём лице? Вымылась и забыла. Конечно, это не хорошо, я не позволила бы ему поцеловать себя, если бы он не сказал, что теперь уж мы поженимся и всегда-всегда будем целоваться. Только всё-таки, Варя, от этого ещё никакого особого горя нет! Ну, кто видел, что вы целовались? Никто? Ну и скажи всякому, кто скажет, что это неправда, а потом помолись и сделай 25 поклонов.

Снова Варя села и глядела на Аню, в её ясные, серые глаза так просто, так чисто глядевшие на мир Божий, на людские поступки.

— Тебя очень любит тётя? — спросила она, следя за своей мыслью.

— Ну, ещё бы! Мы с ней живём душа в душу, уж если бы меня кто хоть раз поцеловал, я бы сейчас рассказала тёте.

— Да? Ну, а вот я никому не сказала.

— И не говори... Только вот, постой, Варя, ты и Владимиру Ивановичу не скажешь?

— Если кто-нибудь ему скажет это, свадьбе нашей не бывать!

— Ну, так вот и прекрасно, ты сама ему всё и скажи, ведь не такой же он скверный, чтобы мстить, выдать тебя отцу и матери, он, если захочет, найдёт предлог и сам откажется от тебя. Варя, милая, хорошая, послушай меня, послушай тётю, не выходи замуж, не любя — нехорошо! Тяжело потом будет, да и стыдно. Вот ты поцеловала человека, который нравился тебе — и то плачешь и стыдишься, а как же ты целовать будешь того, кто тебе противен?

— Оставь, Аня, ничего ты не понимаешь, недаром тебя у нас в классе святой называют. Мне надо выйти замуж, чтобы всем замазать рот, чтобы никто не смел колотить меня Лобановым. Ведь Ершов — лучшая партия в городе, а у меня какое приданое?

— Но ведь ты его не любишь?

— Ах, на что им наша любовь! Ведь вот любила Лобанова, да он бросил же меня и женился на богатой, я ведь знаю.

— Слушай, Варя, у меня голова идёт кругом, пойдём к тётё, скажи ей всё откровенно, она тебе даст хороший совет.

— Никаких мне советов не надо, поздно мне идти за ними к твоей тётё. Ты вот что скажи мне, Аня, как ты думаешь, Владимир Иванович добрый?

— Ой, Варя, не знаю, не спрашивай меня, такой он весь размеренный, точно по линейке выкроен, и во всём у него на первом слове — так должно быть, а спросишь, почему — потому, что всегда так бывает. Вот так логика.

— Но подумай, Аня, ведь у нас же есть в городе богатые невесты, отчего же он выбрал меня, бедную. Разве это не признак доброты?

— Не знаю, Варя, опять-таки не знаю, только думается мне, что им тут руководит принцип, вот что! Чужого ему не надо, но зато своего не упустит ни-ни, жена ему нужна бедная, чтобы ни приданым, ничем никому не была обязана, он женится на тебе — и потребует быть для тебя и солнцем, и богом. Смотри, понравится ли? Это, впрочем, я тебе говорю то, что о нём тётя думает, спроси её.

— Аня, ведь подумай, он товарищ прокурора, то есть очень умный человек, мне кажется, такой человек должен всё понять, всё.

— Ну, друг мой, особого ума я тоже от него не видала. Да ты сама-то к нему не приглядывалась? Ведь это тип! Гляди, как он идёт по улице — столбом, широко, прямо, не своротит ни перед женщиной, ни перед ребёнком. А как он ест! Помнишь, у нас на вечеринке, мы ещё хохотали, — подойдёт к вазе, посмотрит-посмотрит и, не торопясь, выберет самое лучшее. Заметь, сядет он где? Всегда на самом удобном месте и садится так прочно, что его, кажется, пушкой не выбьешь. А принципы-то его, а теории о том, что каждый за себя, что он избрал карьеру прокурора потому, что прощать ничего не следует, что каждое преступление должно быть наказано, что...

— Он это говорил, говорил, да?

Варя схватила её руку.

— Да это ты, ей Богу, Варя, глухая что ли? Сто раз говорил, да ещё с наслаждением каким-то и с особым ударением...

— Ах, Господи, ах, Господи! — Варя схватилась руками за голову. — Счастливая ты, счастливая, что у тебя есть такой друг, как тётя! Ну, прощай, Аня, я успокоюсь, как будет — не знаю, и ничего решить теперь не могу, одно обещаю: увижусь с Ершовым — и честно, открыто поговорю о многом, и что будет, то будет!

— Вот хорошо, Варя, именно честно и прямо! Ну, Господь с тобой, дорогая, будь спокойна! — и Аня крепко-крепко поцеловала подругу.

Когда Варя вошла в прихожую своего дома, ей навстречу выбежала мать и непривычно ласково обняла её.

— Ну, поздравляю! Вот уж убила бобра! Ну и счастье тебе — лучший жених! Вот выбирай из всего города, что города, из целой округи — такого не найдёшь! Умница, товарищ прокурора, шутка ль! Богат, у отца завод! Свои дома! Ну и аристократ, на всех языках; и хорош, ах, хорош! Сегодня пришёл: брюки в клеточку, жилет пике, галстук сиреневый на всю грудь, полный видный, пенсне золотое, руки пухлые, белые, даже с ямочками, как у Владыки. Ах, какое счастье тебе, Варвара! Иди к отцу — ждёт! И, не дав оторопелой девушке снять с себя шляпу, она провела её в столовую к отцу.

Николай Петрович был трезв и одет в вицмундир, а потому принял дочь величественно.

— Подойди, Варвара, ближе! Ну, поздравляю! Утешила — спасибо! Такого жениха считаю за честь! Ты у меня красавица, вся в меня, ну, а благодаря воспитанию и неусыпному надзору за тобой матери, ты — честная и скромная девушка, вот за эти-то качества, он тебя и берёт, сам сказал. Мне, мол, её честь служит приданым, ничего не надо, потому что беру ангела! А кому ты этим обязана — родителям, ну так и цени! Приданое мы тебе всё-таки дадим, какое можем, денег нет, да у него и своих много, а там тряпок всяких, нарядов нашъём и свадьбой всем нос утрём, помнись будут, как красавица, почтмейстера дочь, за прокурора замуж выходила! Ну, ступай, с матерью, верно, есть о чём поговорить.

Варя поцеловала руку отца и как в чаду поднялась к себе. Не успела она снять накидку и шляпу, как к ней опять вошла мать и села в кресло.

— Вот что, Варя, ты не думай: мать — дура, ничего не знает, не слышит. Мать, ох! Много видит, много знает, да только, жалеючи, молчит! У тебя что с Лобановым было?

— У меня? с Лобановым? Маменька! — Варя, едва стоя на ногах, прислонилась к комоду, даже губы девушки побелели.

— Что, обидела я тебя, или в центре попала? Ну, Варвара, ни от моих укуров, ни от твоих слёз теперь толку уж не будет, так заруби ты себе на носу мои слова: коли что было, того не было, не было, и на том умри, у умной девушки прорухи не бывает, всё шито-крыто. Знай, что я большого не предполагаю, Варвара, а так — шуры-муры да амуры, но коли до отцовских ушей что дойдёт, убьёт он тебя из собственных рук, как есть убьёт насмерть, и не пожалеет. Коли жених узнает что до свадьбы... и откажется от тебя, да на потеху и срам всему городу кинет, то разорвут тебя на клочки одними сплетками да насмешками. Ну, а коли узнает что-нибудь он после свадьбы, поверь, молчать будет, духу не подаст, человек он с громаднейшим самолюбием и уж

себя на посмешище городу не отдаст — не таковский! Так вот, Варвара, всё твоё счастье в твоих руках — и богатство, и свобода, потому будешь дама, да ещё, так сказать, первая дама в городе; а вот коли не проскочишь, коли до венца спугнут его разными наветами, тогда всё пропало — на век позора не смоешь, а не то и хуже от отца достанется. Да ты слушаешь ли, Варвара, что я говорю-то тебе?

Девушка хотела говорить, но слова не слетали с её языка, в горле пересохло, она только несколько раз кивнула головой.

— Да ты чего, Варя? Чего, глупая? Точно я тебе враг, что ли, ведь мать родная, то-то глупая, кабы не фыркала с высоты своей учёности-то, а открылась вовремя во всём матери, никакой беды и не было бы. Да и теперь ничего, ничего не будет, только сумей повенчаться, заberi ты его в руку до венца, ластиться начнёт — а ты недоступность напусти, а обидится — приглубь немножко. Ну да что учить, нужда, Варюша, лучшая школа, а тебе нужно выйти замуж, чтобы всякие насмешки да сплетни сразу прекратить. Не плачь, Варюшка, ну не плачь! Знаю я, что ничего между тобой и Лобановым не было, а всё неосторожность твоя, прогулки по роще. Лобанов-то тоже был партия, гуляла бы с ним здесь, в садочке, на глазах у матери, накрыла б я его, как расцеловывался, и была бы теперь ты замужем за дружкой милым, а ты в секрет, да по своей воле. Ну, я не мешала, думала, всё-таки ты не дура, поиграешь, поиграешь с ним в сантименты, да к нам же и приведёшь; а вышло-то иначе, он-то вывернулся, да и прощай, а тебе-то обида да слёзы, а по городу-то набат, потому все видели вас вместе, да вместе и радуются теперь, говорят, что ты его ловила, да не поймала! Вот оно и выходит, что упустить такого жениха, как Ершов, уж теперь и нельзя. Ну, ляг, ляг, Господь с тобой! Отдохни, да потом приоденься, вечером-то жених будет. Смотри: небось, как узнали, что посватался, так уж стали жужжать ему в уши. Будь весела — спокойна.

Анна Никитична перекрестила дочь, и, видя, что та лежит с закрытыми глазами, вышла из комнаты на цыпочках и заперла за собой дверь.

Поймав — потому что, по мнению Анны Никитичны, все девушки ловили женихов — такого жениха как Ершов, Варя сразу выросла в мнении матери и приобрела право на её заботы. Быв сама когда-то сухой и практичной девушкой, выйдя замуж за человека с таким нравом, как Бронин, и сумевшая, тем не менее, прожить с ним по-своему счастливо, Анна Никитична и Варю судила по себе, и из всей истории с Лобановым верила в одно: Варя ловила его, да не поймала.

Давно уже ушла Анна Никитична, а Варя всё ещё лежала на кровати без слёз, с тупой болью в висках; в сердце девушки шла борьба. Уйдя от Ани, она решила на откровенную беседу с Ершовым. «Всё выскажу, — думала она, —

всё: и мне будет легче, пусть презирает меня, но уважает, а если любит, мелькала в её сердце надежда, простит и женится и уж тогда, тогда и я его буду любить, так любить!...» И всё хорошее, доброе, женское подсказывало ей, как можно любить человека, вернувшего свободу и спокойствие в бедное, большое сердце. Но после разговора с матерью все эти робкие, нежные мысли улетели, рассеялись, как стая ласточек, в среду которых влетел бы ястреб; снова ей было страшно, мысль, что Ершов откажется, что Верёвкина будет торжествовать, напишет брату, тот передаст «тому», и все они вместе будут смеяться над ней или жалеть её — нет! Нет! Не даст она им этого торжества, она солжёт, отопрётся, если нужно, она даст клятву, что ничего не было. Ведь доказать никто не может, она будет весела, кокетлива с Ершовым, мать говорит правду, ведь мать практичная, всё знает, да, теперь Ершов может отказаться, но раз женится — что бы он не узнал, всё простит, всё скроет, потому что слишком самолюбив и в насмешку городу свою жену не отдаст. Да, так и надо поступить! И вечером, когда жених пришёл, невеста вышла к нему застенчивая, розовая, с потупленными глазами и сконфуженной улыбкой на милых розовых губах. Ершов ушёл очарованный и убеждённый, что девушка любит его.

* * *

«Берегитесь! Вы хотите жениться на кокетке, которую бросил другой, Вас поймали, потому что Вы хорошая партия. Раньше, чем решиться на такой шаг, узнайте, в каких отношениях была В.Н.Б. с Е.А.Л., и весело ли они проводили время в роще тот год, весной и летом.

Неизвестный друг, желающий Вам добра».

— Кто подал письмо?

— Мальчишка, Владимир Иванович, и не могу знать, откуда. Я чистил сапоги у окна кухни, а он протянул руку, положил письмо на подоконник и крикнул: «Барину, — говорит, — передай!». Я: «Откуда?». А его и след простыл.

— Хорошо, ступай! — и снова Ершов погрузился в чтение, и перечитывание коротенького письма, строки и слова были всё те же и так же ясно, подло и трусливо наносили удар из-за угла.

— В.Н.Б. — это, конечно, Варвара Николаевна Бронина, а Е.А.Л. — это значит Евгений Алексеевич Лобанов, о котором уже раз двадцать я слышу стороной с тех пор, как моё сватовство стало известно в городе. Владимир Иванович засунул анонимное письмо в конверт, и, спрятав его на груди в боковой карман, бессмысленно глядел в пространство.

Кабинет Владимира Ивановича имел все претензии на кабинет делового и даже учёного человека: широкая четырёхугольная комната была заставле-

на неуклюжей массивной мебелью, всюду кончавшейся львиными мордами с кольцом в зубах, на круглом столе у дивана было четыре таких добродушно-глупых головы. Громадный письменный стол был тоже кругом в каких-то рожах с несоразмерно длинными носами, о которые он до синяков разбивал себе колена. На столе толстые своды законов и всевозможные уложения; затем, среди картонов и папок с деловыми бумагами, лежали пилочки для ногтей, фигурные ножи для разрезывания бумаги и маленький, красивый, как игрушка, всегда заряженный револьвер, который Владимир Иванович называл «мерилом чести» и эффектно говорил каждому гостю: «Если бы вы знали, каким соблазном подвергаемся мы, люди, держащие в руках весы людского правосудия, но стены моего кабинета скорее услышат выстрел из этого револьвера, который покончит мою жизнь, нежели моё согласие за какую бы то ни было сумму войти в сделку с совестью». На стоявшем у письменного стола большом кресле в древнегерманском стиле была тоже какая-то окрылённая маска, которой Ершов наставил себе немало шишек на затылке, когда, в минуту отдыха, откидывал назад свою голову. Между окнами стояли высокие консоли под чёрное дерево, изображающие головы слонов, хоботами поддерживающих крошечные столики с псевдокитайскими вазами, цинковые столики с гнутыми, вымученными ножками. Высокая лампа, с громадным, как палатка, красным абажуром, и на московско-персидском ковре, распяленным на стене, цинковые же панопли, наивно изображавшие бердыши, копыя, щиты, рыцарский шлем и латы. Вся эта банальная, претенциозная обстановка казалась ему необыкновенно «геральдической», потому что вся она из дешёвого материала и грубой работы имитировала действительно и стиль, и резец дорогих образцов.

Масса книг, брошюр, журналов, была разложена по столам, этажеркам и даже диванам и креслам, но только почему-то этот искусственный беспорядок вызывал в посетителе скорей мысль о переезде на другую квартиру, нежели о том, что всюду, на всяком месте и во всяком положении у хозяина должны быть под рукой великие мысли великих людей. По стенам висели гравюры, олеографии и фотографии в золотых рамах, два зеркала до полу, под письменным столом шкура большого медведя без головы; весь остальной пол был покрыт серым солдатским сукном. Два окна выходили в сад, под одним росла широкая, кудрявая липа и заглядывала в комнату своими нежными, свежими листочками. Сквозь её гибкие ветви просвечивала голубая даль неба, изредка спрятавшись в зелени, пела какая-нибудь птица, и этот уголок природы своей безыскусственной красотой подчёркивал всё безвкусице кабинета, известного в городе своим «столичным» убранством.

Владимир Иванович в раздумье встал с кресла, подошёл к окну, побарабанил по подоконнику, посмотрел на липу и вспомнил, что хотел просить хозяина срубить её, так как она мешала ему видеть за решёткой палисадника прохожих, прохожим — видеть его, работающего в своём великолепном кабинете, и вдруг, снова вспомнив о письме, направился к зеркалу, в котором и отразилась вся его внушительная фигура. Во все тяжкие минуты своей жизни, Владимир Иванович искал успокоения в самосозерцании и самобеседовании. Ему нравилось видеть в зеркале стоящим или сидящим второго Владимира Ивановича, такого же благообразного, спокойного, как он сам, нравилось беседовать с этим двойником, который всё понимал, со всем соглашался и, главное, ничего не возражал. Так и теперь, стоя перед зеркалом, он холодными глазами, опушёнными короткими, тупыми, почти белыми ресницами, зорким взглядом осматривал себя: в безукоризненно-лайковых сапогах его плоские, широкие ноги занимали под себя столько пространства, что едва ли их могли легко сбить с позиции разные мелкие толчки жизни; пёстрые, английского материала брюки обрисовывали солидную окружность тела, белый жилет плотно обхватывал его стан, широкий бант галстука, тугой воротник безукоризненной рубашки, обрамлявшей короткую неггибающую шею, лицо белое с розовыми бровями, пухлые, гладко выбритые щёки, румяные губы с небольшими русыми усиками и светлые, почти белесоватые волосы, стриженные щёткой с просвечивающей под ними розоватой кожей головы, английский синий съют с перехватцем по талии и из-под белых манжет, необыкновенно белые, пухлые руки с ямочками у суставов, с широкими пальцами, немного раздавленными в концах и с большим бирюзовым перстнем на правом мизинце.

Владимир Иванович очень нравился себе, и потому, несмотря на тревогу и волнение, невольно провёл рукой по щекам, покрутил усы и улыбнулся: ассоциация его ощущений с мыслями выразилась одним успокоительным восклицанием: «Зависть! Одна зависть! Потому что всем маменькам — да и дочкам — не весело упустить такого жениха!».

Опрыснув себя духами, Ершов бережно вынул из картона цилиндр и перед зеркалом надел его, затем, достав из жилетного кармана ключик, открыл им правый ящик письменного стола, там лежало несколько бархатных и сафьяновых коробок с дамскими золотыми вещичками: тут были серьги, броши, браслеты и т.д. Ершов покупал их годами при случае и берёт для... будущего. Он взял один футляр и открыл, в нём лежали красивые дамские часики, осыпанные мелкими бриллиантами, он полюбовался ими, подышал на крышку и протёр рукавом, потом снова положил в коробку, затем опустил их в карман, как вдруг при этом движении руки, анонимное письмо, лежав-

шее на груди, хрустнуло и напостило ему о себе. Со сдвинутыми бровями, он быстро положил часики обратно в стол с мыслью: «подождёт, успеется, а то и часики, и невеста — всё ещё может быть потеряно!»

Он выбрал гладкий, маленький медальон с эмалевой незабудкой (pensée) и с надписью под цветком «à moi»: решил, что это и дешёво, и трогательно.

Надевая тёмно-красные перчатки, он отправился к Брониным, у которых сегодня была вечеринка.

— Батюшки! Жених-то наш уже шествует! — всплеснула руками Анна Никитична, увидев из своего окна цилиндр Владимира Ивановича, — Варя! Варюша! — кричала она, высунувшись из своей двери.

— Что, маменька? — услышалось из Вариной комнаты. — Сейчас выйду! Но нетерпеливая Анна Никитична уже влетела к ней.

— Ну, и умница, одета! А я перепугалась, у меня дел полны руки, а жених уже идёт, слышишь, Каштанка лает? Вот подлый пёс! Всех твоих товарок знает, по чутью отцовских гостей различать умеет, а на него каждый раз как шальной бросается. Покажись! — мать отошла в сторону, а Варя в голубом платье колоколом, тоненькая в талии, необъятно широкая в руках, медленно повернулась перед ней.

— Хорошо, очень хорошо! Молодец, Варюша, только гляди веселей... Ну, принимай: никак, вошёл! — и Анна Никитична быстро скрылась.

Ещё раз Варя подошла к зеркалу, узенькому и длинному со столиком и осмотрела себя — точно песочные часы, подумала она: снизу и сверху широко, в середине перехват, поправила завиток на лбу и, как всегда при встрече с женихом, с тревожно бьющимся сердцем вышла в зал, где Ершов уже ходил из угла в угол.

Никаким кокетством, никаким заигрыванием не очаровала бы его девушка так, как робким вопросительным взглядом, которым она окидывала его всегда при встрече и застенчивым детски-неловким движением, которым она протягивала ему руку. Во всей её тоненькой, изящной фигуре было что-то неизъяснимо трогательное, пугливое; и гордое мужское чувство покровительства просыпалось в сердце Владимира Ивановича. Но сегодня этот вид не понравился ему, он точно подчёркивал обвинения анонимного письма.

— Я нарочно поспешил к вам, Варвара Николаевна, — начал он официально.

Варя вскинула на него густые ресницы и чуть-чуть покраснела.

— Нарочно поспешил... Варя, Варюша! — смягчился он невольно, беря девушку за руку, — чтобы нам поговорить наедине... Пойдёмте в сад?

— Пойдёмте...

В густой крайней аллее, под высокими вязами, стояли уже те летние сумерки, которые смягчили контуры, сгладили тоны, придали всему неуловимо-поэтический грустный вид; жёлтый песок аллеи и под тенью деревьев казался совсем красным, а небо сквозь резную листву сияло далёким синим пологом. Здесь сильно пахло цветами, и таинственно шуршал лист от перелёта птиц, размещавшихся на отдых.

Варя при входе в аллею взяла под руку Ершова, и это прикосновение лёгкое, как ласка, смутило и отуманило холодную практическую голову жениха.

— Вот видите, моя дорогая, вот видите, я сегодня получил письмо.

Рука Вари немного тяжелее опёрлась на его.

— Из дому?

— Нет... анонимное.

— Анонимное, от кого же?

Этот бессмысленный вопрос, который продиктовал страх, успокоил его как необыкновенная наивность.

— От кого? Какое вы дитя! Если бы я знал, от кого. Мне пишут в нём о каком-то Лобанове, я не имел чести его знать, но слышал, что это был совершенно пустой франт, случайно появившийся здесь на короткое время, мальчишка, нигде не кончивший курс...

Если бы, произнося роковую фамилию, Владимир Иванович остановился и взглянул в лицо своей невесты, все дальнейшие объяснения были бы излишни. Глаза Вари закрылись, синеватая бледность охватила лицо, даже губы, но ревность, основанная, прежде всего, на оскорблении одним сравнением Владимира Ивановича с кем бы то ни было, увлекла его в такую горячую тираду, что он говорил, говорил, и дал девушке опомниться и прийти в себя.

— Ничтожный человек, без всяких средств, хлыщ, умевший только играть в карты и распевать романсы: «Приди скорей я жду тебя, я жду тебя с полночи...»

Откликнулось в сердце Вари: «его» песня, «его» голос, встречавший её в роще — и грудь согрелась, кровь бросилась ей в щёки, она открыла глаза. А Владимир Иванович, помахивая в левой руке тростью и сбивая ею нежные листочки тянувшихся к нему веток, всё ещё говорил, говорил, говорил, унижая своего соперника.

— И неужели такой человек мог бы увлечь такую скромную, робкую девушку, как вы, Варя? — закончил он и, подняв голову, взглянул на Варю.

В глазах Вари стояли крупные слёзы, честное, хорошее чувство начинало побеждать страх, слова Ани пришли на ум, она мысленно перекрестилась и решила сказать.

— Владимир Иванович! — не отнимая руки, продетой под его, она присо-единила к ней другую, скрестила пальцы и инстинктивно, как бы ища защи-ты, ещё ближе прижалась к нему. — Владимир Иванович!..

— Позвольте, Варя! — он освободился от её руки. — Вот письмо, вы, может быть, узнаете почерк: правильный, очень косою, женский...

«Верёвкина... О!.. Верёвкина! Значит, это идёт всё оттуда, хотят унижить, осмеять и потом торжествовать! Нет, нет, не будет этого!»

Голова Вари поднялась, слёзы высохли, щёки пылали, все хорошие мысли вылетели из сердца, она протянула руку за письмом, которое достал Ершов. Да, да! Она узнала руку... прочла... и поняла, что фактов у них нет.

— Владимир Иванович, — и голос её потерял все робкие ноты, — это всё ложь, зависть! Я — бедная девушка, вы — слишком завидный жених, мама предупреждала меня, что много, много мне придётся вынести до нашей свадьбы!

Её слова так подтверждали его собственные мысли, что он поверил. Да, он слишком блестящая партия и бедную девушку хотят оклеветать, чтобы только отнять от неё неожиданное счастье, тем не менее, он счёл своим долгом ещё раз высказать Варе свои убеждения. Он приосанился и заложил одну руку за жилет.

— Очень может быть, что вы и правы, вашему счастью завидуют многие и клеветникам я не поддаюсь, но хочу только, чтобы вы помнили, что от вас, Варвара Николаевна, я не скрывал своих взглядов, я человек принципа, и ни в какие уступки и сделки с совестью не вхожу, я решил построить своё семейное счастье на прочном фундаменте, поэтому я искал девушку бедную, но безукоризненно-нравственную. Я не верю в счастье, условия которого выходят из рамок нормальной жизни, по-моему, хорошо и прочно только то, что освящено веками и обычаями, в силу этого, я никогда не женился бы на девушке, имевшей сомнительное прошлое; моей женой может быть только абсолютно чистая девушка, вот почему, Варвара Николаевна, скажите слово, дайте только понять мне, что я ошибся, что у вас был только хоть намёк на любовь в прошлом — и я уступлю свою дорогу, ступаюсь.

Он остановился перед Варей в выжидательной и гордой позе, сняв с голо-вы шляпу и вперив в девушку чёрные зрачки своих светлых, как бы выцвет-ших глаз. Девушка вся похолодела, перед ней носились строчки анонимного письма, торжествующее лицо Верёвкиной, «его» смех, весь ужас отцовского гнева, и она беспомощно протянула к нему обе руки:

— Владимир Иванович, не верьте никакой клевете!

Ершов принял в свои объятия дрожавшую девушку и не без волнения по-целовал белый, красивый лоб своей невесты.

— Успокойтесь, я верю вам, и чтобы покончить со всеми завистниками, мы поторопимся свадьбой! — сказал он, выходя с Варей под руку из совсем тёмной аллеи.

* * *

— Я так устала, merci, не могу больше! Вон Соня Круглова без кавалера, пригласите её, а следующий вальс я начинаю с вами, — Варя, взволнованная, нервная, едва сдерживая себя, улыбаясь, отказывала кавалеру, выслушивала его любезности и вздохнула с облегчением, когда тот, скользя по паркету, полетел приглашать весёлую, хорошенькую Соню Круглову.

— Merci, я больше не могу, довольно! — Аня Свиридова, махнув пышными белыми юбками у самой головы Вари, опустила на стул рядом с ней.

— Могу я вас просить стакан лимонаду? — обратилась она к кавалеру, только что выпустившему из рук её талию.

— Моментально! Какого прикажите: клюквенного или лимонного!

— Всё равно, какой достанете.

Молодой человек помчался в столовую, где был устроен буфет.

— Бежим Варя, пока он не появился! Ведь я с того конца видела твоё погребальное лицо и чуть не сама пригласила этого чиновника, чтобы только он докружил меня вальсом до тебя, самой было стыдно перебежать всю комнату.

— Аня, ты знаешь, он второй раз танцует с Верёвкиной. Ах, как у меня ноет сердце! Пойдём ко мне, сюда, скорей!

Девушки, взявшись за руки, пробежали узеньким коридором и, попав в комнату Вари, заперли за собой дверь.

— Не могу, не могу, я с ума сойду! Господи, хоть бы скорей свадьба! Я измучаюсь, изведусь, пока мы обвенчаемся. Сегодня ему прислали уже анонимное письмо, у нас было объяснение, теперь что говорит ему Верёвкина, почём я знаю, какого яда она вольёт ему в душу? Ах, какая мука, какая мука!

— Варя, ты меня совсем сбила с толку, я не знаю, что советовать тебе, это какой-то сумбур, кто кого обманывает, я ничего не понимаю! Ведь это кошмар какой-то! Откажи ты Ершову.

— Как отказать! Теперь отказать? Да знаешь ли ты, что, если теперь наша свадьба расстроится, я руки на себя наложу.

— Варя, Варя, что ты, Господь с тобой! Неужели ты его так любишь?

— Ах, оставь ты, Аня, своё идеальничанье! Буду его женой — буду любить! — и, обернувшись в угол, где пунцовая лампадка жарким пятном света охватывала небольшую икону Божьей Матери и придавала жизненный оттенок строгому лицу Богоматери, девушка вдруг страстно упала на колени.

— Божья Матерь! Божья Матерь! Неужели даже для невольного греха нет возврата, нет прощения. Божья Матерь, помилуй меня! Помилуй, помилуй, и я даю клятву быть доброй, примерной женой и как бы не была тяжела моя жизнь, буду благословлять её, — слёзы заглушили слова девушки, повторявшей только: «Божья Матерь! Божья Матерь!»

Аня, смертельно испуганная, следила за Варей, перед ней открывалась тайна — печальная, постыдная тайна, доступная её пониманию скорей инстинктом, чем умом.

— Что же это такое, Варя? Что же это? Отчего ты так мучаешься? Разве ты так виновата?

— Ах, почём я знаю, я ли виновата, передо мною ли виноваты! Если есть в нём хоть капля справедливости, он должен простить меня, да не простить, а пожалеть, понять меня. Ведь вот теперь, как стала я его невестой — обо мне мать заботится, а тот год, летом, что хочешь делай, куда хочешь ступай, не торчи только на глазах, слова ласкового нет, а отец с весны всё пил, в доме житья не было, а в роще-то всё расцвело: птицы поют, земля жаркая, небо жаркое, даже тень горячая, подруги разъехались по деревням, тебя тоже не было, а Евгений Николаевич — всё со мною, слова такие говорит, что сердце в груди останавливается, петь начнёт, а я плачу, он обоймёт, а я и прижмусь к его груди, так мне хотелось ласки, нежности, приветов, что и не думала я, что можно, чего нельзя... Всё можно, всё отдала, только бы ласкал меня да прижал к груди. Ах, Господи, Господи, неужели же это грехом называется! Разве я бы бросила его, изменила? Разве я спрашивала его — богат он или беден? Богатой мне придётся жить, на балы выезжать или надо будет работать? Да я за ним бы всюду, всюду пошла и всякую работу готова была для него делать, ведь я и дома богатства-то не видела, а он бросил меня, велел молчать перед всеми, молчать и ждать, что приедет за мной, я-то молчала, ждала — а он вот и женился на другой. Теперь пришёл человек, которого я не звала, не искала, и хочет жениться на мне. Мать говорит — если откажешь, из дому выгоню, прокляну, отец, говорит — если свадьба по твоей вине разойдётся — убью! А сама я говорю: только бы обвенчался он со мной, только бы взял от семьи, да защитил от насмешек всех недобрых людей, так я его обождать буду, на коленях служить. Аня, Аня, ну как же быть? Ведь опять Верёвкина говорит с ним, а он опять спрашивать начнёт, а мне опять лгать?

— Нет, Варя, нет, всё, что хочешь, только не лги! Скажи ему, скажи всё, вот так как мне сказала; или он честный человек — всё поймёт и ещё больше полюбит тебя, потому что жалеть будет, или... или и слава Богу, что ты разошлась с ним, иначе... Ах, даже подумать страшно! Что же за жизнь потом-то у вас будет?

— Аня! Аня! Тише, идут! Варя бросилась к кувшину, намочила полотенце водой и стала обтирать им пылавшее лицо.

В дверях комнаты стояла Анна Никитична.

— Варвара, да ты что, на смех что ли? Нашла время с подругой болтать. Вы меня, Анечка, простите, не дело ей шушукаться за углом, а жениха с другими барышнями оставлять! Ты что там водой-то плещешься? Жарко — так поупу-дрилась бы лучше. Да уж ты, грехом, не плачешь ли? Другая бы козой прыгала, с эдакой партией-то ошалеешь от счастья, а тебе, кажется, каждый гимназист милее, даёшь такой девчонке, как Верёвкина, отбивать у себя жениха, та вон как прилипла к нему, небось, у неё одно на уме: тебя с носом оставить, а жениха-то — себе. У неё приданное-то, на грех, хорошее... Смотри, Варвара!

— Верёвкина отобьёт у меня жениха? — Варя выпрямилась и даже побледнела от этого соображения.

— А и очень просто, она поумнее тебя, да и похитрей будет. Ну, ступай вниз, я, видишь, и войти к тебе не могу! — Анна Никитична головой указала на блюдо жаркого, которое сама приносила в столовую. — Ступайте, Анечка, танцуйте!

— Сейчас, сейчас, маменька, идём! — и Варя, быстро сбросив с рук полотенце, поправила перед зеркалом волосы, — Да, да, Аня, теперь я всё понимаю: цель Верёвкиной — отбить от меня Владимира Ивановича, но не удастся же ей это, нет!

— Но ты ему скажешь, что решила сказать? — шептала Аня, идя за ней в зал.

— Да, да, конечно, — пусто, без убеждения отвечала ей Варя.

— Верить или не верить? — перед Ершовым стоял кавалер с двумя дамами: Олей Верёвкиной, дочерью местного нотариуса, и подругой её Маней Фроловой.

— Я по принципу: ничему не верю, пока сам не убежусь! — улыбаясь, отвечал Владимир Иванович и, получив Олю, плавно приседая на левую ногу, начал с ней по-венски тур вальса.

— Ну, а я всегда всему верю! — воскликнул белокурый чиновник и, охватив тоненькую талию весёлой Мани Фроловой, полетел с ней головокружительный старый вальс.

Худенькая Оля Верёвкина, в пышном розовом платье, хрупкая, но грациозная с бархатистыми ресницами небольших, но чрезвычайно блестящих глаз, с густыми, чёрными до глянца волосами, казалась необыкновенно оживлённой и весёлой; когда Владимир Иванович посадил её на стул и собирался откланяться, девушка подняла на него глаза и проговорила как бы невольно:

— Как вы хорошо танцуете! — затем вспыхнула и закрылась веером.

Молодой человек не остался равнодушным к комплименту и стал рядом с Олей, держась рукой за стул и слегка нагибаясь к девушке.

— Я так редко теперь танцую, вот в Петербурге я очень любил посещать специальные балы молодёжи — курсисток, студентов, там бывает весело.

— Ещё бы, я думаю, тут такие, как вы... исключение, а там может быть и многие... она запнулась.

— Что многие?... договаривайте, Ольга Дмитриевна, что же вы сконфузились; или хотели сказать что дурное?

— О вас дурное?

Владимир Иванович сел и придвинул свой стул.

— Что вы хотели сказать, Ольга Дмитриевна, договаривайте!

Девушка, играя в смущение, теребила маленький букет ландышей у пояса.

— Не помню, вы сбили. Да не всё ли равно, точно вы сами не знаете, что вы не такой, как другие. Я вот со всеми болтаю и даже резко, как хочу, а с вами — конфужусь.

— Конфузитесь со мной, но почему же? Нет, это интересно, вы скажите?

— К чему говорить?... Скажите, Владимир Иванович, скоро ваша свадьба?

Владимир Иванович пристально взглянул на девушку, на её опущенные ресницы: «Эге-ге-ге! Да никак я прошёл мимо большой страсти». И, покручивая усы, ответил:

— Да вот, мы решили сегодня с Варварой Николаевной поспешить.

— А? Это её желание? — Оля вскинула ресницы.

— Да... знаете, во избежание толков.

— Она боится толков? Ну, ей их не избежать!

— Как не избежать! Почему не избежать?

Лицо Оли приняло невинное выражение.

— Владимир Иванович, я не особенный друг Вари, мы часто ссоримся, и потому я боюсь говорить с вами о ней, притом... — она наивно рассмеялась, — меня все дразнят вами, говорят, что я ваша поклонница, а потому я должна молчать.

— Нет, Ольга Дмитриевна, я вас прошу продолжать, неужели после вашего признания в симпатии ко мне вы мне откажете?

Снова девушка взглянула на него тем долгим, нежным взглядом, который яснее слова говорит о восторге и покорности.

— Я ничего не хотела сказать, разве о Варе можно сказать что-нибудь дурное? Она такая красавица! Евгений Лобанов, товарищ моего брата, прошлое лето её иначе не звал как «моя звезда».

— Моя звезда? Почему моя?

— Не знаю, так — шутя верно, впрочем, они были очень дружны, целый день вместе. Как обедать, завтракать, гулять — нет Евгения! Спросишь брата: да где же твой товарищ? Брат и рукой махнёт — у своей «звёзды» пропадает. Она всё в роще гуляла. Меня вот ни с кем не пускают, Владимир, Иванович, а Варя такая счастливая, всегда свободна, что хочет и как хочет, то и делает!

— А в городе говорили что-нибудь про эту дружбу?

— Ах, Владимир Иванович, ведь у нас такие сплетни, конечно, говорили, смеялись, в особенности, когда Евгений Алексеевич уехал, и Варя долго то-сковала и плакала, а всё-таки... — Оля вдруг оживилась и засмеялась, — брат проиграл мне большое пари, он спорил, что на Варе в нашем городе теперь никто, никто не женится, я, конечно, спорила до слёз, что женится — она ведь хорошенькая и так умеет скромно держать себя, вот я и выиграла пари — женится, да ещё самый завидный жених... Ах, что я сказала! — Оля опять сконфузилась и спрятала лицо за веер.

— Так ваш брат спорил, что никто не женится теперь на Варваре Николаевне?

— Да ещё как спорил! Знаете, я боюсь, он и всё-таки не согласится, что проиграл пари — Оля мило засмеялась — он скажет, что вы не из нашего города, а приезжий и потому, потому... Ах, Владимир Иванович, отойдите от меня, я так люблю говорить с вами, но на меня так сердито смотрит Анна Никитична, я боюсь, право, боюсь, да и Варя также не любит, когда с вами кто-нибудь разговаривает, — и Оля встала с места, взяла под руку проходившую подругу и ушла с ней из зала.

— Владимир Иванович, мне было так жарко, голова закружилась, я и ушла на минуту к себе, — говоря эти слова, Варя грациозно и нежно, как бы подчёркивая перед всеми свои права, взяла жениха под руку и сделала с ним несколько шагов по залу.

— Скажите, Варя, вы, кажется, недолюбливаете вашу подругу М-ле Верёвкину, за что?

Владимир Иванович, ожидая ответа, пристально глядел в лицо своей невесты.

От Вари, уже чутко и нервно настроенной, не ускользнул ни звенящий голос, ни пытливый взгляд жениха и присущий каждой женщине инстинкт самообладания подсказывал ей — берегись.

— Я недолюбливаю её? — рассмеялась она. — Ошибаетесь, она мне очень нравится, но, к сожалению, она имеет много против меня.

— Что же она может иметь против вас?

— Как, что? Да это весь город знает, все мои подруги! Впрочем, правда, вас тогда ещё здесь не было, вы ничего не знаете... Верёвкина была влю-

блена в товарища своего брата, того самого... как его?.. Ах да, Лобанова, про которого вы говорили, а этот господин почему-то ухаживал за мною.

— Ухаживал за вами?

— Ещё как, Владимир Иванович, проходу не давал, звал «своей звездой».

— Своей?

— Ах! — Варя рассмеялась, — Да ведь он был поэт, пел и писал стихи, ведь поэты всегда говорят: моё небо, моя звезда, моё море. Он уверял, что я его путеводная звезда; мы всегда потом с Аней Свиридовой смеялись, что его путеводная звезда не привела, а вывела из нашего города.

— То есть, как это вывела?

— Да ведь он... — Варя нежно прижалась к плечу Ершова и заглянула ему в глаза, — Вот вы заставляете меня говорить чужие тайны! Ведь он... сватался за меня, а я отказала...

Краска, от сознания своей лжи, полымем охватила лицо Вари, но Ершов в этом зареве, в потупленных глазах опять видел только милую девичью стыдливость.

— Отказали? — он прижал её руку к своей груди.

— Да... и он уехал. Верёвкина мне этого простить не может и поклялась... — Варя глядела прямо в глаза Ершову, — и поклялась отбить у меня того, кого я люблю.

— И вы полюбили? Скажите, Варя, полюбили?

«Божья Матерь, Божья Матерь, прости меня!» — Варя казалось, что она летит с какой-то вышины в пропасть.

— Полюбила...

— Кушать пожалуйста, гости дорогие! Пожалуйста кушать, чем Бог послал, не обессудьте! Анна Никитична стояла в дверях и умильно кивала своим гостям направо и налево.

— За здоровье жениха и невесты! — старик Бронин, выбритый и причёсанный, благообразный со своими седыми усами и белым галстуком, поднял бокал шампанского.

— Ура, ура, ура! — гости, молодые и старые, повскакали с мест и, теснясь, поздравляли Владимира Ивановича и Варю.

— Горько, горько! — раздалась где-то провинциальная острота, но Владимир Иванович с широким жестом, говорившем ясно: «нет, уж это оставьте!» — поднял бокал.

— За здоровье всех присутствующих!

— Вот так фунт! — нотариус Верёвкин толкнул локтем почтмейстера, — ещё учёный человек, а не знает, что надо пить, прежде всего, за родителей!

Но кто-то уже кричал:

— За родителей невесты!

И тосты полились один за другим. Ужин был на славу, хозяева вина не жалели, и, несмотря на всю сдержанность, жених тоже выпил лишнего, и когда старики снова громко и требовательно кричали: «горько! горько!», он обнял тонкую, стройную талию невесты, а когда та, полузакрыв глаза, побледнев, стыдливо обороняясь, откинула голову, он грубо, страстно прижал её к себе и поцеловал в самые губы.

— Молодец, ей Богу, молодец, Владимир Иванович! Ей Богу люблю: взял, да и поцеловал!

Нотариус хохотал, но дочь его Ольга пристально и холодно смотрела в упор в глаза горевшей от стыда невесты.

— Ну, слава тебе Господи, разошлись! Вон, на огородах петухи поют! — Анна Никитична тушила огарки свечей и прибирала зал, — Аксинья, хоть только стулья-то растащи по углам, а то, как пойдёт сам, так лоб себе расшибёт. Вы, Владимир Иванович, не торопитесь, вот я маленечко поприберу, а вы хоть рядом в кабинете поговорите с Варюшей, побеседуйте; у нас ещё огонь во всех окнах, я нарочно ставни не велела закрывать, не зазорно, коли жених перед свадьбой словом с невестой перекинется. Пройди, Варюшка, с Владимиром Ивановичем в кабинет отца-то, посидите вдвоём хоть минуточку.

Хмель и близость милой девушки, танцы, прикосновения всех этих голых женских рук, открытых плеч взволновали всегда спокойную кровь Владимира Ивановича. Анонимное письмо, слова Верёвкиной, а затем признание в любви Вари, помутило его разум и, несмотря на ночное время, он не уходил. Потерять Варю, потерять красоту молодого гибкого тела, которое сегодня он держал уже в объятьях, как своё... нет, он не хотел этого! Но быть обманутым, пойманым, жениться на девушке, которая имела уже любовника, сделаться посмешищем города, да какого — захолустного, провинциального, в который он въезжал как победитель, как образец высшего тона... Кто их знает, этих людишек, этих дикарей, кричащих «горько»? Женится, а они завтра тебе забор дёгтем вымажут, в дырявом стакане вино на свадьбу поднесут! Он даже побледнел.

— Варя!.. Через неделю назначена наша свадьба — ещё не поздно. Прошу вас, не играйте со мной, я выше всякого обмана, но собой, всей своей будущностью, я никогда не прощу обмана, насмешки над собой, никогда! Умоляю вас, если у вас есть что-нибудь сказать мне — скажите, и мы сегодня же разорвём все наши отношения.

Разорвать сегодня! После того, как перед всем городом их объявили женихом и невестой, после того, как на глазах всех он надел на её руку обру-

чальное кольцо? Разорвать? А мать, которая прислушивается к их разговору, а отец, тяжёлые шаги которого она слышит над головой! А Верёвкина, лицо которой исказилось сегодня за ужином, когда жених поцеловал её — разорвать?

— Владимир Иванович, неужели вы ещё не верите?

— Варя, — Ершов схватил её за руку. — Варя! Я начинаю во всём сомневаться, я не привык к провинции, меня пугают все намёки, шутки, мне надо быть вполне, вполне уверенным в вас, иначе я всё брошу и уеду.

«Уеду? Уедет как тот?», мелькнуло в голове Вари, «Да ни за что! Довольно раз пережить такой позор, всё лучше, чем это — да смерть и то лучше». Нет, в будущем будь что будет, но теперь она станет защищаться и не даст врагам восторжествовать.

— Владимир Иванович! Владимир Иванович! Володя! — она кинулась к молодому человеку и обвила руками его шею, — Что я должна сказать, как уверить вас?

Ершов, человек анализа и фактов, слабея под этой лаской, разнеженный вином, тронутый слезами, бежавшими из глаз Вари, вдруг ухватился за самое женское, самое эфемерное доказательство: он повернул голову Вари в угол, где последний огонёк тухнувшей лампы чуть-чуть светлой судорогой пробежал по тёмному лику какого-то святителя, и шепнул ей: «Поклянитесь!» И Варя — со всем ужасом отчаяния, стиснув руки, со спазмом в горле от душивших её слёз, взывая всем сердцем, всей кровью своей к милосердию святителя, повторила три раза: «Клянусь, клянусь, клянусь!»

Ершов поцелуем закрыл ей рот.

Пусть теперь говорят, что хотят, он никому не поверит. Девушка, выросшая в семье, где во всех комнатах горят лампы и круглый год по средам и пятницам едят постное, ложной клятвы не даст.

— Ну, вот управилась, слава тебе Господи!

— Наговорились, наворковались, голуби? — Анна Никитична, подслушавшая молодых людей и решившая, что как раз пора вмешаться; вошла и села в кресло, зорко поглядывая на жениха и невесту.

— Наговорились, маменька! — Ершов в первый раз дал ей это нежное название и поцеловал руку. — Завтра, Варюша, я привезу вам часики, чтобы они напоминали вам, когда надо меня и домой выгонять.

Он нежно несколько раз поцеловал обе ручки Вари и вышел.

— Что, Варвара, не говорила я тебе, что нужда — лучшая наука? Ишь, как обработала жениха? Вот этого так уж поймала — не вырвется! Молодец, Варвара! Ну, прощай, спи, Бог с тобой! Жди завтра часики! — поцеловав и перекрестив дочь, счастливая мать ушла спать.

— Божья Матерь! Божья Матерь! Прости и помоги!

Варя долго лежала в своей комнате перед образами и не находила других слов, другой молитвы.

* * *

В мезонине деревянного дома мещанки Марьи Андреевны Свиридовой, несмотря на позднюю ночь, горела лампа. В маленькой, необыкновенно чистой комнатке пахло мятой, калуфером, полынью и другими травами, подвешенными в сухих пучках по потолку. На протопленной, несмотря на летний день, лежанке, покрытой серой кошмой, сидел громадный голубовато-дымчатый кот с изумрудно-зелёными глазами. Под небольшим окном с пышными занавесочками белого миткаля, висела клетка с певуньей-канареечкой, теперь мирно спавшей в кольце. По подоконнику, на зелёной дощечке, стояли муравленые красные горшки; пышными кусточками, вся в пунцовых цветиках, красовалась герань, рядом с ней бальзамин с белыми пупочками, а по краям их — высокая фуксия: плакун-цветок с висящими, как капли крови, коралловыми серёжками; под окном, на низенькой скамеечке, стоял второй ряд горшков — лимонное, рябенькое золотое дерево и нежный перистый мирт; у окна — комод красного дерева, неуклюжий, пузатый с бронзовой оковкой и бронзовыми ручками у каждого ящика, на нём — расшитое яркими гарусами полотенце и посередине укладочка немецкой работы с туалетным, откидным зеркальцем, гребёнкой, помадой и духами Ралле в затейных флаконах. Дальше, в углу — большая божница с тремя рядами икон в золочёных ризах, со средним большим образом Богоматери Троеручицы, украшенной, поверх венчика, гирляндой померанцевых цветов с пожелтелыми лайковыми бутонами. Три лампадки: жёлтая, красная, синяя — во имя трёх лиц Единого Божества — ярко горели, колебля цветные пятна по низенькому белому потолку; дальше стоял стеклянный поставец с золочённой фарфоровой посудой и старинным, потускневшим серебром. Строгие стулья с прямыми спинками и жёстким сиденьем, обитым тёмной клеёнкой, два старинные высокие кресла и диван с овальным столом, покрытым пёстрой китайчатой скатертью. В углу, скромно скрываясь за дверью, стояла узенькая деревянная кровать с высоко вздутой периной и грудой подушек мал-мала меньше, в белоснежных «покрывашках», белые простыни, с хитро пробранной каймой висели на ладонь ниже стёганого кумачного одеяла. По крашеному полу, до света натёртому воском, как ручьи, бежали во все стороны дорожки серого рядна с красными петушками по борту; на стене над диваном висело овальное зеркало, в нём, с противоположной стены, отражался портрет мужчины лет 30-ти с необыкновенно мягкими, задумчивыми глазами.

Марья Андреевна, худенькая, среднего роста старушка, с добела седыми волосами, прикрытыми чёрной кружевной косынкой, сидела на диване перед потухшим самоваром, вокруг которого оставались нетронутыми тарелочки с её любимыми прикусками: смоквой, пастилой и орехами в мёду. В золочёной чашке с надписью «На память» давно остыл невыпитый чай. Напротив старушки, на кресле с высокой спинкой, сидела племянница её Аня, уже часа два вернувшаяся от Брониных.

— Ступай спать, Аня, не по силам думу ломишь, я загадала чай с тобой пить, встретить тебя приготовилась, а ты на какой разговор развела! Покойной ночи! Ступай спать!

— Покойной ночи, тётечка, сейчас пойду! — и Аня, не двигаясь с места, видимо, под напором внутренней мозговой работы, всё так же пристально и упорно глядела вперёд.

— Да ты чего ж это, Аня, убиваешься? Или ты мне не всё договорила, или ты попусту кручину на себя нагоняешь?

— Тётя, я не могу, ей Богу не могу! — и Аня вдруг зарыдала. Всё её худенькое тело, прикрытое белой ночной кофточкой, трепетало, коротенькая нижняя юбочка, скомканная под себя, не покрывала тоненьких ножек в чёрных чулках и маленьких бронзовых туфлях, полуголые ручки, закрывавшие лицо, и толстая рыжая коса, заплетённая на ночь с тесёмочкой в конце, делала её похожей на совсем маленькую девочку — несчастную, обиженную, забившуюся в большое кресло, как испуганный птенчик в угол гнезда.

— Анечка, да Господь с тобой, Анечка, неразумная! — Марья Андреевна хлопотливо встала с дивана, налила в стакан, — Испей, Аня, слышишь, испей! Ах, мать Божья, да ты что же это мучить меня надумала, третий час на исходе, а она без горя горе делает, на голос рыдает, Аня!

— Тётечка! — Аня поймала её руку и прижала к своим горячим губам, — Тётя, понять я хочу, растолкуйте мне, кто прав, кто виноват, и почему мне за Варю так стыдно и так больно?

— Ну ладно, не хотела я с тобой говорить о таких вещах, думала — ты легче проживёшь под моим крылом; ну да уж коли пришлось тебе такую думу думать, давай её вместе решать. Что ты знать хочешь, говори!

— Тётя! — Аня откинула волосы, вытерла глаза и села, прямо уставившись в лицо старухи пытливым, серьёзным взглядом, — Тётя, должна Варя сказать Владимиру Ивановичу, если она до него любила другого?

— Я, Анечка, вертеть кругом да около не умею, в наше время слово «любила» одно значило, а в ваше — другое. Так вот, коли любовь её была только тайной её души, а «он» пренебрёг ею, уехал, — незачем ей свою боль воротить и о пустых мечтаниях с женихом говорить, растревожит она только его

воображение, наускнет на чужого человека и с себя будто позолоту снимет — не надо говорить. А вот коли любила она его, то есть, что у нас попросту говорят, коли гуляла она с ним, целовалась да миловалась, — должна сказать, без этого нечестная она будет девушка.

— Значит, — Аня, не мигая глядела в глаза тётки, — значит, если гуляла, да скажет, так она может считать себя честной?

— А то как же? Ты в чём же честь-то ставишь девушки? Любовь-то существовала спокон веку и в наше время, и до нас были девушки, которые вопреки родителям, вопреки всему свету любили избранника, и, если даже не могли соединиться с ним браком, так всю жизнь одной этой любви оставались верны и все страдания и гонения за свою любовь принимали. О них и песни слагали, и в книжках их героинями называли, да и в жизни таких девушек не нечестными, а несчастными зовут, а вот такие, что тайком от матери гуляют, потому что лето тёплое, свободы много, да милый подвернулся, а потом лгут, отпираются, да обманом за другого замуж идут — вот таких нечестными называют и таким — ах, как плохо бывает.

— Тётя, но ведь она любила!

— Любила? Нет, милая, коли у человека есть такой сильный дар Божий, как любовь, так ничем ты его не забудёшь, не загонишь. Кабы любила, — ни отец, ни мать, ни весь свет не удержали бы — ушла бы за ним, либо умерла бы по нём.

— А если он её бросил сам?

— А она отдохнула, поплакала — да и за другого, да уж теперь, с большого-то опыта, не спроста, а по закону, — не велика честность-то тут, сдаётся мне.

— Тётя, а если отец убьёт её, мать проклянёт, общество отшатнётся?

— Постой-постой, нагородила, дай разобраться. Отец убьёт, коли свадьба расстроится, а почему ты думаешь, что муж не убьёт её, коли свадьба состоится? Мать проклянёт? А коли муж проклянёт, что обманам она у него его имя себе на покрывку взяла... Общество отшатнётся, а тогда не отшатнётся оно, как с первого дня брака да выгонит её от себя муж? Вот и выходит, что петля-то всё одна и та же, так стоит ли лгать-то столько, да мучиться?

— Тётя, так как же ей поступить?

— Как? Уж я не говорю, как честь велит, а как силы хватит, чтобы себя спасти. Знаю я Ершова этого, видала, и моё понятие о нём такое, что шутки с ним лучше не шутить, ни на увлечение его, ни на доброту рассчитывать нечего, у него своя линия и с неё его не согнёшь. Любовь у него мужская, а не человеческая, любит он её для себя, а не её самой ради, скажет она ему правду — не женится он на ней и не простит он ей ни бала сегодняшнего, ни

подарков своих, ни ухаживания... И не знаю, не знаю, как он поступит, только беда будет и горе большое, нет у него широкого ничего в мыслях: не высокая душа в нём и до настоящего прощения — прощения, которое воскрешает погибшего — не подняться ему. Трудно ей теперь, ох, как трудно будет! Жаль мне её, потому знаю её родителей, тяжёлый ответ понесут они за неё перед Господом: видели, девушка на возрасте, мечется, тут-то лаской да терпеньем взять бы, к откровенности приучить и вот — с глаз не спускать, что овцу любимую, чтобы волк не зарезал, а они её на вольную волю, да издёвками, да попрёками, ну, так и закусила удила... Мать-то душу в ней грошовую видела, думала — не промахнётся девка, в меня пойдёт, жениха себе поймает, а та бедная — куда ловить, сама, что птица неразумная, в силос пошла. Теперь, как я смеаю, один ей, Анечка, выход — самой отказаться от жениха. Пойти к отцу, к матери и объявить, что не люб он, мол, ей, и не в силах идти за него — да так на том и упереться.

— Тётя, да её отец...

— Небось, Аня, не убьёт, не в Скифии живём. Поругается, покричит, может и ремень снимет, да ведь на большой скандал не пойдёт, как-никак и гимназия вступится, коли что очень. Ну, мать припугнёт проклятием, а она — стой только на одном: не хочу да не могу, не люблю, а не мила вам — в монастырь пойду; и коли так, то отстоится она от них, все от силы характера её зависит, так потом и легче будет. В монастырь они её не пустят, девушка она хорошая, красивая, а прошлое-то ей каким уроком будет и искупит она его страданьем, зато коли потом, когда встретит человека доброго, честного, да полюбит он её, скажет она ему всё, выложит всю боль из сердца, и простит он её, потому будет знать — не обманом постыдным прикрыла она свой грех, а страданьем искупила его.

Аня бросилась тётке на шею и крепко поцеловала её.

— Ах, тётя, как это хорошо, что вы говорите, что она всё-таки может быть честной девушкой, я вот так словами не могла объяснить, я только чувствовала, что не было бы Бога на свете, кабы не было полного, совсем, совсем полного прощения, — это правда, перестрадать надо — искупить.

Аня в волнении прошлась по комнате.

— Ах, тётя, тётя, если бы Варя согласилась так поступить... Завтра же я пойду к ней и всё выскажу ей и буду умолять её, слышите, тётя, умолять стану отказаться от этой свадьбы, — Аня с пылающими щеками ходила по комнате, — Я скажу ей... нет, вот что, тётя, я приведу её к вам, вы скажете ей...

— Ах ты, птенчик горячий, боюсь, что ничего я не скажу ей, потому что не пойдёт она ко мне, не захочет, не приучена душа у неё к доверию, смутится она от твоих слов и ещё пуще запрётся, станет нас бояться и избегать.

А всё-таки ты сказать-то ей — скажи, это твой долг. Ну, а теперь ты иди спать, Христа ради, ведь лица на тебе нет!

— Тётя, не могу: лягу — хуже промучаюсь, мысли у меня сперлись, понимаете, вот здесь! — Аня приложила руку к груди. — Кипит всё, сердце бьётся, так много-много что-то, что и сама не понимаю, а вот здесь, — девушка дотронулась до головы, — всё вопросы, вопросы, а ответов нет и согласить-то, что чувствую с тем, что думаю — не могу. Понимаете, тётя, не могу.

— Понимаю, голубка, понимаю! Ведь я тоже на веку-то своём не всё в кухне, да в погребу хлопотала: и думала, и читала много я, говорила с моим покойником, а уж он — совсем умница у меня был.

— Тётя, не ходите спать, уйдёте, а я до утра так промучаюсь, ведь вот до последних дней я всё только возилась с Цыганом, на огороде копалась, да училась, казалось, мне жить-то как хорошо и вопросов у меня никаких не было, а теперь вот столкнулась с Вариной историей — и всё точно новое кругом стало: чего никогда не видела — вижу, чего в мыслях не было — думаю. Ах, тётя, ничего-то я не знаю!

— Полно, Аня, тужить, полно, девочка моя, знаешь ты, где у тебя правая рука, где — левая, так же хорошо почувствуешь ты что правда и что ложь, а в чём не разберёшься — ко мне придёшь, ведь я твой первый друг, и нет такой мысли, что бы ты не сказала мне, так ли?

— Так, тётя, только вот посидите ещё немножко, поговорите со мной, так, обо всём, мне не так горько будет.

— Ладно-ладно, до сна-то я не больно жадна, да и днём выплущу. Давай чаю налью, выпьем, что ли, по чашечке?

— Выпьем, тётя! Аня снова залезла с ногами в глубокое кресло, тётка села на привычное место на диван, — Тётя, что девушки — послушнее были в ваше время?

— Нет, не послушнее, голубка, потому тогда педагогики-то этой и в помине не было: ребятишки озорливее были, зато, вырастая, становились покорнее и не то, что кому-то, а жизни, Богу, судьбе что ли покорнее были, а потому и счастливее. Да и на любовь смотрели иначе. На чашку-то, пей!

— Спасибо, тётчка! Как же на любовь-то смотрели иначе? Ведь чувство-то всё то же.

— И на любовь смотрели, говорю, иначе, и на замужество иначе — проще и выше, коли хочешь. Даром, что психологии-то твоей не читали! Пей чай-то, возьми крендель, а то и говорить не стану.

Нервы Ани, растревоженные непосильными думами, под влиянием тихого старческого голоса, полного спокойной, разумной ласки — успокоились; напряжённый взор, звенящий голос девушки бессознательно смягчились,

личико её прояснилось и, почувствовав, что она хочет и пить, и есть, так как ни до чего не дотронулась у Брониных, она придвинула свою чашку, взяла крендель и ещё глубже, спокойнее забравшись в кресло, принялась за чай.

— Тётя, вы только говорите, я вас слушаю, и точно свежей водой моюсь, так мне хорошо опять становится.

— Ах, ты дурочка, дурочка! — и старуха, смахивая слезу, протянула руку и похлопала по худенькому, голому плечу Ани, — Не холодно?

— Что вы, тётя, летом лежанку топите — да холодно! Говорите лучше о прошлом, ну, милая, говорите!

— Да что говорить-то, только одно и есть, что за большой-то любовью, или как сказать, за страстью-то не гнались в наш век, да и на счастье смотрели как не для всех писанное. Думалось, счастье-то вымолвить у Бога надо, заслужить жертвами какими, а получив — беречь надо и холить его. Так берегли, что даже глаза боялись. Девственность-то их как высоко ставили! Потому что символом она служила неразрывных уз супружеских, потому мужу одному приносила она себя всю в целостности с душой и телом — ну, и чтил он её, и уважал, и верил. Теперь-то любовь ваша — как игра пустая в «любишь — не любишь» — кто хочет, все участие принимают. Прежде-то, коли какое дело такое негожее у него было в семье, стыдился и большой тайной прикрывался, а теперь никто ничего не стыдится, тайны нет, а так — секретиком, который и знакомые, и прислуга, и все кругом знают. Теперь-то, Анечка, замуж отдают — так даже о семье жениха или невесты не спрашивают, только о самих, да о приданном, а прежде на род смотрели — «у нас говорили, в роду...» И родом гордились, будь то дворянский, купеческий, мещанский, либо крестьянский, нужды нет, всё был род и вёлся он с преданиями, да правилами, и девушку искали подходящую нравом и обиходом, чтобы продолжать род. Нынче всякие предания семейные исчезли, люди живут не тем, во что верят, а тем, что их тешит. Ну и измельчали, смешками да смешками начисто вышептались, как раки, — Марья Андреевна вдруг вскинула глаза на портрет мужчины с тёмными, грустными глазами, — Ах, Аня, Аннушка ты моя, взгляни на меня! Старуха я, плохие недостатки мои, только и могу, что без нужды тебя вырастить, а уж о прихотях не спрашивай: мужа я любимого потеряла, сын далеко, сестру любимую похоронила, да от неё тебя по второму годочку взяла, а вот скажи: слыхала ли ты от меня хоть когда единую жалобу или обиду на жизнь? Никогда! Потому как вспомню я своё девичество чистое, мечты заветные, замужество с человеком хорошим, мне отцом да матерью выбранным, вспомню, как венчалась с ним, с каким, можно сказать, благоговением относился он ко мне, как берёт от всякого соблазна, как с каждым днём дружились мы тесней, любились и как даже самая смерть не страшна

была ему, потому что умер он на груди у меня, прильнув ко мне, как дитя малое. И вот, сквозь этот самый венок, что он своей рукой с моей головы снял и на образ Богородицы Троиручицы повесил, — гляжу я без стыда, без трепета на своё прошлое и благословляю его.

— Тётя Маня, тётя Маня, что я тебя ещё спрошу, только ты мне скажи правду, потому давно вопрос этот приходит мне на ум, да стыдно спросить, не решалась.

— Господи Иисусе, давно вопрос на ум приходит, и меня не решалась спросить?

— Не решалась, тётя, прислушивалась я кругом, всё думаю, кто вот нечаянно скажет, да нет, видно это тоже тайна, которую все хранят про себя.

— Да скажи ты, милая, не мучай, о чём думаешь-то?

— Вот что, тётя... — Аня медлила, точно собиралась с духом, — мужчины с той же чистотой идут во брак, как девушки?

Взгляд Ани — серьёзный, настойчиво впился в лицо тётки, и та поняла, что девушкой руководит не нездоровое любопытство, а сознательное желание встать раз навсегда лицом к лицу с вопросами жизни. Сердце старухи сжалось. В бледном личике, в ясных, карих глазах, во всём худеньком теле Ани лежал отпечаток нетронутой, девственной чистоты. Марья Андреевна воспитала и лелеяла в ней именно ту покорность жизни, о которой говорила, всеми силами старалась развить в ней довольство немногими простыми радостями, которые могла дать ей; старалась как можно проще разрешать ей задачи жизни и до сих пор умела обойти многие вопросы, на которые нет прямого ответа, а вечная попытка разрешить которые только бесплодно возмущает юную душу и нервы. Теперь жизнь выдвигала именно один из таких вопросов, и раз он созрел в сердце девушки и она обратилась с ним к своему старому другу — надо было отвечать.

Минуты шли, девушка-ребёнок и женщина, покончившая расчёты с жизнью, глядели друг другу в глаза, одна — ожидая, что перед ней поднимется завеса смущавшей её тайны, другая — не смея своей старческой рукой отнять от неё одну из самых чистых и лучших иллюзий.

— Ответа ты хочешь, Анна, да и правда ждёт, а я вот не знаю, что и сказать тебе; и хотелось бы мне, чтобы ты не задавалась этими мыслями: пустые они и недобрые, заведут тебя в ложную сторону и отнимут у тебя много спокойствия. Я, видишь, старый человек и об этом никогда глубоко умом не раскидывала. Мне так сдаётся: женщина в семье у себя — что священник в алтаре: она не должна думать, все ли прихожане сердцем чисты, все ли молятся одинаково? А должна только думать о том, чтобы самой не осквернить вверенный ей алтарь. Мужчина всегда жил трудом да своей волей от пелёнок и

до могилы, гордится он своей свободой и потому трудно ему уберечь себя, как девушке, но только скажу тебе: были да и есть честные люди, что блюдут себя, а женившись — дают клятву чистоты и верности и держат её. Часто муж мой покойник говорил мне: не судить, а жалеть нас нужно, и коли больше бы было чистых девушек, да нравственных жён, больше бы и нас хороших людей было.

Девушка молчала, под напором упрямой думы глаза её казались совсем чёрными и точно ушли вглубь, губы сжались, подбородок обострился, она сразу казалась постаревшей, осунувшейся. Аня понимала, что это не ответ, а завет той же женской покорности.

— Аня, Анночка, да будет тебе! Ах, ты Господи, изведётся девушка, чужой болью болеет! Полно, родная, смотри, светло стало — идём спать!

Аня тряхнула головой, как бы отгоняя обманувшие её мысли, и, быстро встав с места, приблизилась к тётке и опустилась перед ней на колени.

— Ах, тётя, тётя! — Девушка охватила руками старушку и прижалась к её коленам головой, — Ах, тётя, тётя, тяжело мне на сердце! Всё в жизни условно да относительно, всё ложь да фальшь, а как бы хотелось правды! Счастья, тётя, хочешь не безумного, не особенного, а маленького, тихого, да честного, — и Аня тихо заплакала.

— Не плачь, голубка, не плачь, милая, счастье придёт, верь крепко, верь, Аня, что людей с чистым сердцем оно никогда не минует.

Аня приподняла голову.

— Тётя, я и любви, и счастья хочу! Придёт любовь?

— Придёт, моя милая, придёт к тебе любовь хорошая, прочная, только не зови её, не томись, не жди, а будь всегда готова и оценить, и принять её.

— Как дева со светильником? — засмеялась Аня уже просветлевшим лицом.

— А что смеёшься, как в притче сказано, так и верь: не жди жениха, но будь всегда готова встретить его. Пойдём-ка, Анна, помолимся вместе, как молились, пока ты была ребёнком!

Перед образом Троеручицы, обвитым гирляндой пожелтелых цветов, при свете трёх лампад во имя Единого Творца в трёх лицах, старуха и молоденькая девушка стали на колени близко-близко, одна к другой, касаясь плечом, и обе глядели на иконы, и обе искренно, горячо и смиренно предавали себя в Руки Божии.

Да будет воля Твоя!

* * *

До свадьбы Вари Брониной остаётся всего несколько дней. Дом почтмейстера гудит, как пчелиный улей: там кроют, шьют, смеются и поют с утра до поздней ночи. Скучный садик ожил: в его заповедных углах, в тени кустов

малины, среди гряд клубники, навалены диванные подушки, стоят стулья и столики, большая «прыгальная доска», долго стоявшая в забросе, теперь часами стонет и скрипит под лад хохоту и визгу прыгающих по ней девушек. Между двумя старыми липами повешен пёстрый гамак, подарок жениха, при кавалерах ни одна девушка не решается лечь в висячую койку, но зато втихомолку — в сетку наваливается по три и с хохотом качаются в ней до тошноты. На крошечной площадке в палисаднике играют в крокет, прохожие останавливаются и слушают за густой зеленью акаций сухое щёлканье шаров и весёлые крики играющих. Пёстрые веночки серсо то и дело перелетают за ограду, и кто-нибудь из кавалеров с палочкой-шпагой в руках, услужливо летит за ним на улицу.

Варя точно переродилась, она поспевает всюду, голос её раздаётся чуть не одновременно и в палисаднике, и в саду, и в доме, её нервный смех звенит и приветствует издали приход жениха; во всех играх-затях она первая и точно жжёт под собой землю, точно гонит часы и сама, как во сне, несётся, несётся к какой-то роковой, неизбежной развязке. Оля Верёвкина, сумевшая помириться с Варей после бала, следит за ней и одна понимает, что девушка бьётся, как птица в силках. Аня Свиридова по-прежнему весела и спокойна. Варя поцелуями закрыла ей рот, как только та начала свою проповедь, и уверила её, что весь раздутый ею самый страх прошёл — разобравшись в своём сердце, она поняла, что ничем не виновата серьёзно, а главное — что любит своего жениха и теперь спокойно ждёт свадьбы.

Жених доволен, потому что чувствует себя центром всего этого молодого шума и веселья, а главное потому, что убеждён, что самая красивая, самая стройная и талантливая девушка влюблена в него до того, что на глазах всех худеет и тает, ожидая свадьбы. И каждый день, открывая заветный ящик письменного стола, он дарил невесте что-нибудь из своего драгоценного запаса. А про то, что Варя худела и таяла, говорил весь город; глаза Вари стали глубокие, блестящие, щёки горели румянцем, и что-то неуловимое, новое изменило выражение её лица, внутреннее скрытое страдание как резцом прошло по чертам её лица и одухотворило его.

Целые ночи девушка простаивала на коленях перед иконой своей покровительницы — Варвары Великомученицы, на голом полу, босыми ногами, скрестив руки на груди, она застывала в молитве, поклон за поклоном склоняла она к земле свою тёмную головку, не замечая, не утирая крупных слёз, бежавших из глаз, она без слов, без молитвы, молила всё об одном и том же чуде: о том, чтобы уничтожилось прошлое в её теле, как молитвой, постом, покаянием изгнала она «его» из своего сердца. Прощения полного, бесповоротного, бесследного прощения молила она.

Накануне свадьбы жениха просили не приходить. К Варе собрались все подруги, чтобы увязать всё приданое розовыми лентами и уложить в комоды и корзины. В зале на круглом преддиванном столе стояла присланная с утра женихом свадебная корзина — это был большой нарядный ящик, обитый белым атласом с бронзовыми углами, внутри полный красивых безделушек: веер слоновой кости с белыми страусовыми перьями, духи, помада, пудра, щипцы для завивки, дюжина носовых платков, дюжина перчаток и прелестный, почти пустой несессер, так как всё колющее и режущее Анна Никитична удалила — приметы ради. Двери дома Брониных в этот день не закрывались, и весь женский персонал города перебивал; по обычаю пересмотрели, перетрогали всё приданое и всё похвалили. Почтмейстер сдержал слово, денег не дал, но тряпки выставил первостатейные. Вечером окна, выходившие на улицу, прикрылись наглухо ставнями, выходившие же в сад оставались открытыми. Душная июльская ночь глядела в них бархатной темнотой, деревья, раскрыв как безмолвные объятия, протягивали в тёплый воздух свои длинные ветви, в траве кой-где блестели светляки, да с неба, покрытого миллионами звёзд, время от времени срывались огненные точки и, мелькнув золотой нитью, гасли в неведомой дали.

— Будущий генерал родился, с неба звезда в его колыбель упала! — объявила Соня Круглова, следившая за падучей звездой.

— Не родился, а умер кто-нибудь, у всякого человека есть своя звезда, видимая или невидимая, она загорается при его рождении и срывается с неба при его смерти, — серьёзно заметила Анна Никитична.

— Ах, ночь-то, ночь... Хоть бы соловей запел! Соня!

Круглова высунула голову в окно, дохнула всей грудью и вдруг, выпрямившись, протянула вперёд руки и запела мягким, чрезвычайно нежным контральто:

Люди спят; мой друг, пойдём в тенистый сад,

Люди спят, одни лишь звёзды к нам глядят.

Да и те не видят нас среди ветвей

И не слышат, слышит только соловей,

Да и тот не слышит — песнь его громка,

Разве слышит только сердце да рука,

Слышит сердце, сколько радостей земли,

Сколько счастья сюда мы принесли.

Да рука, услышав, сердцу говорит,

Что чужая в ней пылает и дрожит,

Что и ей от этой дрожи горячо,

Что к плечу невольно клонится плечо...

— Ещё, ещё пой, Соня, пой! — бросились к ней подруги.

— Нет, девушки, стойте, что у вас за песни нынче пошли, вы хоть бы подблюдную какую спели, с кольцами бы походили. Я вас научу, вот только кликну света подать.

— Не надо, Анна Никитична, не надо, зачем нам свет.

— Мама, — Варя подошла к матери, — вы уж оставьте нас сегодня... дайте нам девичник своим девичьим умом справить, прошу вас, мама, ведь это мой последний день.

— Тыфу, Варюшка, слова какие говорит! Последний день, последний день! Эк обмолвилась — нехорошо!

— Это Варин последний девичий день.

— Вот спасибо, Анечка, что поправила. Девичий-то правда последний, так и слава Богу, за этакого принца идёт замуж, петь, да веселиться надо!

— Мама!

— Да уйду, уйду, заладила: «мама»! И вправду, чего я затесалась-то к вам, пойду, велю вам ужинать накрывать. Кушать-то где будете, в столовой нельзя — стол занят.

— У меня, у меня маменька, а нет, так в угловой там есть большой стол, его накрыть можно.

— Ну, в угловой, так в угловой, только ты, Варвара, ложись пораньше, а то завтра-то — на холеру больше, чем на невесту похожа будешь. Девушки, я больше не приду, покушайте, да и спать, Варе-то завтра к ранней надо, ведь исповедаться да причаститься надо будет.

— Знаю, знаю, маменька, знаю! — и бессознательная мука звучала в голосе Вари.

— Ох, надоела я тебе, дочка, по голосу слышу. Ну, твоя воля сегодня. Прощайте, девицы. Не забудь, Варя, в столовую-то заглянуть.

— Не забуду, маменька, загляну.

— Ну, ладно, поцелуемся-ко, Господь над тобой! Ложиться будешь, помолись, да обручальное-то кольцо сними, да под подушку положи — примета такая есть, сон увидишь. Ну, прощайте, барышни, не обессудьте, вам всем наверху вповалку постлано, как хотите, так и ложитесь, — ещё раз перекрестив Варю, Анна Никитична вышла.

Соня бросилась от окна и встала среди зала.

— В круг, в круг все ко мне! Аня, за рояль! Да только тоже подпевай. Варя, дай руку, становись здесь!

Выхожу один я на дорогу,

Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу

И звезда с звездой говорит:
В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом.
Что же мне так больно и так грустно,
Жду ль чего, жалею ли о чём?

Аня аккомпанировала негромкими аккордами, напоминая звук гитары; контральто Сони Кругловой переливался металлическими нотами, сопрано Вари звенел ясно, чисто — как молитва, и весь остальной хор дружно вёл песню.

Я б хотел забыться и заснуть!

В голосе Вари задрожали слёзы. О, да, забыться и заснуть! Устала она, страшно устала! Правда, берег, к которому с неуправимой силой воли стремилась она, был близок, но всё-таки как сладко было бы — забыться и заснуть.

Но не тем холодным сном могилы
Я б желал на веки так заснуть —
Чтоб в груди дрожали жизни силы,
Чтоб дыша, вздымалась тихо грудь.

И песня, вырываясь из окон, неслась в тёмный сад, где проснувшийся утренник подхватил её и полетел с ней по кустам, по гибким ветвям деревьев, рассказывая и им, и потухавшим в небе звёздам, сколько страстной тоски, сколько смертельной усталости звучит в голосе невесты, которую весь город признал за самую счастливую.

Чуткое ухо Ани уже схватило надтреснутую нотку в голосе Вари. Не успел замереть хор, как она уже ударила по клавишам и запела свежим, нежным сопрано.

В час полночный близ потока
Ты взгляни на небеса,
Совершаются далеко
В горном мире чудеса.
Ночи вечные лампы
Невидимы в блеске дня.
Стройно ходят там громады
Негасимого огня...

— Довольно, Аня, довольно, не пой! — Варя крепко обняла за шею подругу и прижалась щекой к её щеке, — Не пой!.. Не могу, эта ночь, звёзды падучие, не могу, грудь сдавило, а я плакать не хочу. Аня, верно ведь это, что совершаются далеко в горном мире чудеса? Ах, как мне надо, надо верить в силу Божьих чудес!

— Пойдёмте в сад! Послушайте, Варя, Аня, Оля! Да слушайте же всё, что я придумала: Пусть Вале навсегда останется в памяти её последний девичий вечер, мы обойдём весь сад, все её любимые уголки, затем весь дом, все комнаты — конечно, кроме тех, где старики — пусть Варя простится с каждым уголочком, затем через столовую и зал подыдемся наверх, поужинаем, и с песней разденем невесту и уложим спать. Так?

— Хорошо, хорошо, согласны!

— Варя, иди вперёд, только молча, молча, чтобы никто ни слова, хорошо, Варя?

Аня Свиридова вскочила от рояля.

— Хорошо! — Варя встала впереди девушек, попарно выстроившихся за ней, и тихо, безмолвно, сами проникаясь каким-то суеверным страхом, переступили они порог балкона и вышли в тёмный и тихий, как бы притаившийся, сад. Песок скрипел под осторожными шагами, изредка шуршала задетая платьем трава, шелестела ветка, цепляясь за плечо. Оля Верёвкина вздрогнула, задетая крылом какой-то большой ночной бабочки, да тихо вскрикнула Лёля Заводская, увидев над головой мелькнувшую тень летучей мыши.

Варя шла, и всё прошлое со щемящей болью воскресало в её измученной душе: вот из-за этого угла, притаившись за старой липой, глядела она в конец улицы на жёлтый дом нотариуса Верёвкина и ждала, когда два раза спустится штора крайнего окна — это был знак, что милый идёт в рошу и там будет ждать её; а вот тут, под кустом сирени, уйдя тихонько из своей комнаты, лежала она тёмной июльской ночью и глядела в небо — жутко было на сердце, лицо полымем стыда горело — ах, что случилось! Что случилось! Не сумела она убежать, растерялась, не смогла отстоять себя, потому что шаг за шагом, ласка за лаской, поцелуй за поцелуем разменивалась девичья честь, девичья гордость и — вся вышла. А вот, — она даже приостановилась, — в этой крайней аллее Владимир Иванович, помахивая тростью, обивал головки цветов, волнуясь намёками анонимного письма. Ах, зачем она не сказала ему тогда всей правды, ведь была минута, когда она готова была на полную исповедь, но пересилил малодушный ужас перед тем, что будет; что скажет отец, весь город, да страшное желание выплыть из омута догадок и сплетен, доказать всем, что она имеет такое же право, как и её подруги, стать под венец в заветном уборе. Ах, зачем удержала она правду, рвавшуюся тогда из груди.

Тихо, безмолвно шли девушки. Останавливаясь, где останавливалась Варя, спеша там, где девушка почти бежала под напором гнавших её тяжёлых мыслей. Варя круто повернула мимо купы кустов, где Ершов, застав

её вчера на траве с книгой, подкрался и, на правах жениха, поцеловал в шею. Едва ступая, держась уже за руки, девушки вошли в дом и остановились в зале, где был стоворный бал; вот Варя встала на то самое место, где, глядя в глаза жениху, опираясь на его руку, она сказала ему: «полюбила». О, гадость, подлость трусливого сердца! Разве она полюбила его? А вот — она переступила порог отцовского кабинета — здесь, здесь, Святитель угодник Сергей, перед твоим ликом, подняв руку, загнанная страхом, потеряв смысл того, что делала, произнесла она трижды: «Клянусь, клянусь, клянусь!» И земля не разверзлась, и рука Святителя не убила её. Варя бросилась из комнаты, перешагнула порог столовой и вдруг со страшным криком упала на пол.

Крик Вари повторился десятью голосами обезумевших девушек, все дрожали, металась из стороны в сторону, плакали.

— Варя, Варюша, что с тобой? — Аня пробилась вперёд и в свою очередь, взглянув на стол, вскрикнула, — Ах, Боже, Боже, ах!

Когда девушки уходили из сада, луна только что выплыла из-за облаков, серебряный свет её мягко прокрался сквозь густую зелень деревьев и кустов и робкие тени задвигались, как живые, по жёлтому песку дорожки; в столовую свет луны влился сквозь окно, выходявшее в сад, и осветил середину комнаты, выдвинув, вырисовав все предметы.

Большой обеденный стол стоял, покрытый белой, длинной до пола скатертью, на середине его во всю длину лежало пышное подвенечное платье, в ногах стояли белые, атласные башмаки, а в головах пышный газовый вуаль спускался на густой венок из флёр д'оранжа.

Соня Круглова первая поняла всё происшедшее и схватила Варю за руку.

— Да ведь это же подвенечный наряд!

— Господи, что тут случилось? Огня, огня! — кричала Анна Никитична, выбегая из своей комнаты и прикрывая рукой зажжённую свечу, — Аксинья! Аксинья, да шевелись, Христа ради! Сюда! Кто кричал-то? Что случилось?

Около Вари группой уже на коленях возились девушки.

— Аня, подними голову... Вот так, выше, Оля, три грудь!

— Воды, воды скорей! — распорядилась Заводская.

— Мать Божья! Владычица, никак с Варей обморок, что случилось? Господи, померла, как есть померла!

Анна Никитична с плачем бросилась к дочери.

— Ничего, ничего, не кричите, Анна Никитична, приходит в себя, вот глаза открыла! — Аня схватила стакан воды, принесённый Аксиньей, — Пей, Варюша, хоть глоточек проглоти!

Варя машинально проглотила воды, поднялась с пола, взглянула на стол и, снова вскрикнув, дрожа, схватила Аню за руку.

— Что это, что же это?

— Да что ты, Варвара, с ума сходишь-то? Да это твой наряд венчальный — нарочно разложила на столе, чтобы не мялся, тебя три раза звала в столовую полюбоваться, в уме не было, что ты сюда без огня войдешь!

Варя молча, всё ещё с испуганным, бледным лицом, отвернула голову и, опираясь на руку Ани, пошла из столовой.

— Да как это случилось-то? Как вы все сюда собрались?

— Варя захотела по дому пройтись, с комнатами прощалась!

— Идём, Варя, идём к тебе! — Аня ускорила шаги.

— Ещё забаву нашли! Чего прощаться-то? Захочет, так каждый день заходить может. Варя, Варюша, да лучше ли тебе? Да не ушиблась ли ты? — она рванулась к дочери.

— Ничего, маменька, прошло, и не ушиблась я, и ничего не случилось, испугалась только.

— Господи, и это накануне свадьбы эдакий переполох. Нет, я не могу, я сама пойду к тебе наверх спать.

— Маменька, ей Богу ничего, я здорова, оставьте, а то я хуже растревожусь и не засну, я сейчас лягу.

— Сейчас?

— Честное слово — сейчас, только оставьте меня!

— Ну, Анечка, вы мне за неё отвечаете, и не хорошо, девицы, что обманули вы меня и до сих пор не легли, гляди — часа через три и вставать надо.

Испуганные, нервно настроенные, девушки почти ничего не ели, быстро разделись и улеглись. Оля Верёвкина придвинулась близко к Заводской и шептала ей:

— Не к добру, не к добру такой обморок, мне страшно!

— Ну, знаете, я сама испугалась, как взглянула на белое платье, да венки: как есть Офелия, вынутая из воды, так и видишь труп! — Заводская вздрогнула и плотнее прижалась к соседке.

— Да что ты видела, Варя, что показалось тебе? — спрашивала Аня, стоя на коленях около кровати всё ещё дрожавшей Вари. — Ты вот дрожишь, Варюша, и теперь успокойся!

— Аня, я видела себя!

— Как себя?

— Так ясно-ясно видела, что это я лежу на столе, своё лицо, даже волосы свои видела.

— Варя, какое воображение! Я сама испугалась, когда луна скользнула светом, мне показалось, цветы дрожат на венке, но я видела, что там никого нет.

— Да, а я видела — что это я, понимаешь, я! Мёртвая!

— Молчи, молчи, Варя, спи, я лягу около тебя.

Варя подвинулась к краю, и Аня, как была в кофточке и юбочке, легла возле, на узенькую кровать, и обняла Варю рукой за шею, и так, прижавшись, молча, обе задремали и незаметно заснули, забыв и прошлое, и надвигавшееся будущее.

* * *

— Властью мне данной прощаю, разрешаю и отпускаю!

Небольшого роста, седой, со скорбно добродушным выражением лица, священник снял епитрахиль с головы Вари и ждал, чтобы она приложилась к кресту, но когда исповедовавшаяся, встав с колен, обернула к нему лицо, отец Алексей даже попятился:

— Больны, должно быть, Варвара Николавна, а? Не можется?

У Вари кровинки не было в лице, она дышала с трудом и порывисто.

— Нет, батюшка, так — ночь не спала.

— Волнуетесь? Ну, никто как Господь, ему надо молиться, труден шаг и страшен переход от девичества к супружеским обязанностям, но та, которая соблюла непорочную девственность свою, внесёт зарю нравственности в дом супруга своего, и жертва её зачтётся свыше, и благословятся чресла её на продолжение рода человеческого, — отец Алексей своими выцветшими, серыми глазами ласково глядел в лицо измученной девушки, — Бояться нечего. Господу угодно было женщину сделать подругой мужчины, и церковь благословляет и освящает брак. И насколько постыдно, скверно и грешно сожителство вне брака, настолько же благословенно оно с разрешения церкви; падшим уготован огонь вечный, а соблювшим себя — лоно Авраамово. Вам, девушке, воспитанной в страхе Божьем, дочери честных и благочестивых родителей, нечего бояться такого шага. Чистота ваша, Варвара Николаевна, покорит вам супруга вашего и послужит ему залогом незыблемости уз ваших. Благословляю тебя, откровица! — и, благословив Варю, он продолжал уже тоном простого собеседника.

— Сегодня изволите венчаться, здесь, в соборе?

— Да, батюшка.

— Так-с, а духовника-то своего постоянного, отца Петра, пригласили на венчание?

— Да, батюшка.

— Хорошо сделали, потому если жених ваш пышности ради пожелал венчание в здешнем соборе совершить, то своего руководителя совести обходить не следует. Ну, Господь над вами, отдохните до таинства, и, опираясь на чистоту свою, без сомнения, как голубица чистая, грядите во храм.

Кончилась поздняя обедня. Причастившуюся Варю поздравляли подруги, знакомые, жених, который в силу какой-то тайной, почти не сознаваемой тревоги, настоял на том, чтобы Варя исповедалась и причащалась в день венчания. Девушка, наконец, очутилась одна и испросила, как милости, позволить ей лечь, остаться совсем одной в своей комнате до 5 часов, когда должно было начаться её одевание. В 7 назначена свадьба, затем бал, и молодая уезжала в квартиру мужа, куда уже перевезли всю мебель и её вещи. Анна Никитична ушла тоже отдохнуть. Николай Петрович заперся в своём кабинете подсчитывать, во что обошлась ему свадьба дочери — и когда всё стихло, Варя, лежавшая на кровати без мысли, без движения, поднялась и по привычке всех последних дней стала на колени. Ей трудно было молиться, трудно собрать все мысли, она замирала, и только душа её, помимо воли, помимо сожаления, точно отдельная самостоятельная часть её существования, вела беседу с высшим миром.

В силу нелепого воспитания мелкой среды, в которой вращалась, в силу полной нравственной неразвитости, покорная только фальшивым традиционным взглядам на то, что стыдно и что нет, Варя выросла без всяких устоев и во всех поступках руководилась шаблонными прописями добродетели. Не сознавая теперь, что она напрасно губит себя, добровольно проходит ряд непосильных унижительных мук, она была убеждена, что всеми этими страданиями искупает свой грех, она как бы вела свой счёт мук с тем, чтобы предъявить его туда, карающему Божеству, и тем умилоствить Его. Её не остановил ни ужас, охвативший её в церкви, когда пришлось лгать на исповеди, ни страх после лжи приступить к причастию, она благословляла лишнее страдание, зачислив его в заслугу себе, начинала верить, что теперь уже переполнилась чаша искупительных жертв, и прошлое заглажено ею. Только, изредка сквозь густой туман всех этих софизмов, вдруг вырывались простые слова Ани Свиридовой: «Тётя говорит — ты затягиваешь себе петлю на шею. И сразу стало бы тебе легко и просто, если бы ты вместо ежедневной, ежечасной лжи в течение недель, сказала бы раз навсегда одну правду».

Варя долго стояла на коленях, и усталость всего прожитого навевала если не спокойствие, то оупение на все её мысли, ей казалось, что теперь она сделала всё, всё, что только могла, чтобы испросить себе у Бога прощение, что нет такого страха, такой муки, которую она не пережила бы, не предчувствовала, и теперь остаётся одно — ждать, что будет. Минутами совершенно детская, жалкая надежда охватывала её: а что, если и действительно — прошлое не оставило никаких следов, что, если и не существует никаких признаков, если все её муки — один мираж? Владимир ничего не узнает, будет любить её, лелеять? Она вся расцветала, румянец возвращался в лицо,

ей хотелось петь, прыгать. Затем снова тоска сжимала сердце, снова холод ложился на плечи, а как узнает — по одним её глазам, когда после венца они останутся вдвоём? Узнает, тогда что? Что тогда? За этим волнением усталость до отупения опять охватывала её и снова всё становилось постылым, чужим. «Умереть?» — мелькнуло в ней первый раз теперь, когда она стояла на коленях, и она продолжала мечтать: «Да, как хорошо было бы умереть в церкви во время венчания, вся в белом, с флёрдоранжем на голове, все будут рыдать, сожалеть; Владимир будет в страшном отчаянии потерять свою непорочную невесту. Ведь тогда уже никто не осмелится клеветать на неё! Клеветать?» Снова мысли шли назад, вызывали рошу, жаркий летний день и ещё более жаркие ласки другого...

Варя с трудом встала с колен, легла на кровать и в ту же минуту заснула.

* * *

Се грядёт голубица! Торжественно гремит хор в соборе Святой Троицы и по ковру церкви идёт Варя, бледная, но спокойная, как человек, испытавший всё, чтобы отворотить удар судьбы и теперь уже отдающийся в её руки.

Девушка была прелестна в белом, воздушном наряде, в прозрачной фате, обрамляющей её щёки, в флёрдоранжевой короне на густых чёрных волосах, из-под тонких чёрных бровей её карие глаза лихорадочно горят, и в церкви раздаётся лестный шёпот и аханье.

— Первая, первая вступила на подножку! — шепчет какая-то старушка, — Владеть будет.

— Свеча-то, ишь, не дрожит в руке, — смелы девки ноне стали! — толкует другая.

— Ох, ох! Кольцо покатилося, — не к добру, не к добру! — ахает третья и волнуется соседей, подавшихся вперёд, чтобы видеть, как с клироса поймали колечко, вырвавшееся из толстых пальцев Ершова.

— Мальчик будет первеньким-то, кольцо к воротам покатилося! — и тихие замечания, пересуды идут в толпе.

Венчание кончено, и вдвоём в карете заводчика Ге — единственной имеющейся — молодые катят к дому Брониных.

Ершов тронут, разнежен красотой Вари и, сознавая, что теперь это его законная жена, начинает придавать ей особую цену — теперь это не Варя Бронина, дочь какого-то почтмейстера, это М-ме Ершова, жена товарища прокурора! Растроганный этим обстоятельством, он обнимает Варю, прижимает к груди её хорошенькую головку и нежно целует её щёки и лоб.

— Варюша, Варя! Прелесть моя, как мы хорошо будем жить! Я буду одевать тебя, как царицу, на зависть всем, мы заведём лошадей, я выпишу карету — вот такую же, мне отец уже обещал, у нас будут jour-fix'ы. Я скоро получу

повышение... Ах, моя Варя, жёнка моя!.. Мадам Ершова, какая вы красавица! Он целует маленькие, беленькие ручки невесты.

И Варя, которой так хочется преклонить свою голову, отдохнуть, поверить любви, жмётся к мужу, улыбается с блестящими на длинных ресницах слезами и думает: «Он добр, нет, он очень добр, и так меня любит». И тут же вспоминает слово матери, что свою жену он не посрамит и себя на смех обществу не отдаст, и успокаивается.

Бал на этот раз у Брониных по-модному, — без ужина: в столовой обильная холодная закуска и чай. Гости встречают молодых шампанским, затем все присутствующие дамы получают по красивой бомбоньерке конфет. Два вальса, одна кадрили, мазурка, снова шампанское и — разъезд. Это новшество не совсем по вкусу старожилам, любящим на свадьбах пировать до вторых петухов, но так понимал жених.

* * *

— Господь с тобой, Варюшка, будь умница, слушайся мужа во всё. Помни: жена да убоится мужа, так повелел Господь, а я тебе скажу — и не за этого красавца шла я, да и на свадьбах-то у нас в моде — вот как напоишь молодого, так уж презентабельности-то и совсем нисколько в нём не было, а нечего делать, целовала и покорна была, зато век-то и прожила... Ну, молчу-молчу, знаю, что больно умны вы нынче стали, всё сами хотите лучше знать. Ещё раз дай перекрещу. Господь над тобой!

И растроганная Анна Никитична вышла, утирая слёзы, из спальни и закрыла за собой дверь.

Кругом стояла какая-то жуткая тишина, за закрытыми ставнями слышны были дробные капли дождя, вся большая комната, заставленная мебелью розового кретона, с розовыми же занавесями у кровати, вдруг показалась Варе такой чужой, страшной, что она не выдержала, с бьющимся сердцем вскочила с кровати, сунула босые ноги в вышитые золотом туфельки, накинула на плечи широкий, розовый батистовый капот и, вся дрожа, села в глубокое кресло. Теперь ей стало казаться, что всё пропало, что стоит Владимиру Ивановичу войти, взглянуть на неё, и он всё узнает. Лгать, отпираться, играть ещё комедию — уже нет сил. Там везде её защищали свои вещи, свой сад, своя крыша, он приходил — она была у себя, здесь всё ей чужое, враждебное; она пришла сюда путём лжи; заняла место, на которое не имела никакого права. Страшно!..

Страшно... что же он не идёт? Отчего он не идёт? А что, если он всё знает, если он не придёт совсем? Если ни его, ни кого здесь в доме нет, она одна!..

Где-то в коридоре слышались шаги... ближе...

Владимир Иванович, привезя жену в свою квартиру, сдал её на руки теще, приехавшей с ними, и прошёл в свой кабинет, переодеться, лицо его сияло, он чувствовал себя счастливым, в руке он держал крошечный пучочек бутонов белых роз, выбранных им из свадебного букета Вари, бережно он поднёс их к лицу, вдохнул нежный, упоительный аромат и, осмотревшись, взял со столика у окна стакан, налил в него из графина воды, опустил в него цветы и поставил на этажерку перед портретом Вари, ещё в гимназическом платье, с двумя толстыми косами на груди. Мысль, что он женился на девушке, едва-едва сдавшей последний экзамен, перешагнувшей прямо из полукоороткого форменного платья в подвенечный наряд, восхищала его. Волнуясь, слегка дрожащими руками, Ершов снял с себя фрак, белый жилет, галстук и, по привычке, машинально, аккуратно сложил всё на кресле, затем заменил крахмальную рубашку мягкой чечунчовой, подошёл к столу, спрятал бриллиантовые запонки. На самой середине стола лежал большой белый конверт, и вместо адреса на нём чётко было написано: «Прочтите».

Ершов остановился, белый квадрат гипнотизировал его, и он не в силах был оторвать от него глаз. «Опять какая-нибудь гадость, нет, это зависть, клевета, провинция с её гнусными интригами, мне хотят отравить минуту самого большого счастья!». Он махнул рукой на конверт и пошёл к двери. Дойдя до порога, он вспомнил, что держит в руке запонки, вернулся обратно к столу, не сводя глаз с конверта, и вдруг, не выдержав, почти бросил запонки на стол, схватил письмо, разорвал конверт, и мигом жадно прочёл его содержание: «Поздравляю! Интересно будет завтра взглянуть в лицо «новобрачной» и «счастливого» мужа. Ха! Ха! Ха!» два слова стояли в кавычках и подчёркнуты.

Ершов похолодел. Неужели это правда? Неужели я погубил себя, сыграл дурака?! Все дремавшие на дне его души подозрения зашевелились и, как змеи, подняли головы. Он сжал письмо в руке, и через минуту в спальне скрипнула дверь.

Варя вскочила с кресла, и новобрачные стояли друг против друга оба с ужасом и вопросом, вперив друг в друга глаза.

«Узнал! Узнал!» — ныло у Вари в груди.

«Виновата!» — решил Ершов и, страшно побледнев, подошёл почти в упор к жене.

— Ну, Варвара Николаевна, — начал он сдавленным голосом, — теперь мы обвенчаны — муж и жена. Если вы этого хотели, то вы достигли своей цели, но раньше, чем мы станем ещё ближе, поклянитесь мне ещё раз, что... вы невинны.

Варя махнула руками, попятилась и вдруг упала на колени.

— Володя... Володя... я виновата... да, виновата!

— Ви-но-ва-та?! — Владимир Иванович вырвал из её рук свои, которые Варя схватила и обливала слезами, — Ви-но-ва-та?! Это говорите вы мне теперь, теперь, когда всё кончено, когда вы украли моё имя, моё положение, мои средства, когда весь город это знает и смеётся надо мной... Впрочем, стойте: что значит виновата?

Он схватил Варю за руки.

— Ради Христа, подумайте, что вы говорите!

Теперь, когда истина раскрывалась перед ним внезапно-грубо, ему страстно хотелось обмана, ведь это не может быть, она сама не знает, что говорит.

— Варя, опомнись, чем ты виновата, чем ты можешь быть виновата? Варя! Он тряс её за плечи, старался заглянуть в глаза, но голова Вари качалась, как неживая, глаза её были безумны, и из них лились ручьи слёз.

— Володя, я виновата... Лобанов... да... да... в роще... вечером... пел соловей... темно... мы одни... да... да он насильно... я плохо понимала!.. Нет! — она вскинула голову, — не насильно, не хочу больше лгать, я не сопротивлялась, но клянусь, клянусь Богом, я была, как безумная... ничего не понимала... ничего не могла вообразить... он клялся, что женится — я верила.

— Так значит, он был твоим любовником? Говори!

— Да, был, Володя! Володя, ведь я не думала, что он обманет меня, а потом, ведь я не знала, что встречу тебя, что ты захочешь жениться на мне.

— И ты видалась с ним часто? Долго он был твоим любовником?.. — Страшная, бессмысленная ревность душила Ершова — Лобанов был любовником его жены, потому что всё равно — ведь он же женился на ней!

— Говори! — он рванул Варю за руку.

— Видались... часто... после того... недели две ещё... видались...

— Подлая! Подлая тварь!

Ершов оттолкнул её с такой силой, что она упала на локоть, вскрикнула от боли и снова приподнялась.

— Володя! Володичка! Ведь теперь я твоя жена... ведь весь стыд падёт на нас обоих.

— Это с чьего голоса песня? Каков расчёт! Кто научил тебя?

— Маменька говорила...

— Ах, вы обе!.. — Ершов бросил ей в лицо грубую брань, — вот о чём уж переговорили! Ошиблись, я говорил, говорил тебе, не прощу никогда, ни для каких соображений не прощу, не дам загубить себя. Вон из этого города, вон из этой трущобы уеду, переведусь немедленно, но раньше выкину тебя,

пусть весь город знает, что Ершова не обмануть, сейчас вон от меня, чтобы духа твоего здесь не было, тварь!

— Володя!

— Не смей меня так звать!

— Владимир Иванович, миленький, ради Бога, ради Бога послушайте меня, — захлёбываясь, трясаясь, Варя ползла за ним, — пожалейте вы меня, ведь я любить-то как вас буду — слушаться, какой покорной женой вам буду!

— Женой моей! Да разве я возьму в жены потаскушку всякую... Ах! — Ершов двумя руками схватился за свои гладко причёсанные волосы и взбил их нелепым коком. — Ах, я несчастный, он бросился в кресло и зарыдал. Весь план его женитьбы на бедной честной девушке, весь расчёт приобрести себе красавицу-жену, всем ему обязанную, вся заманчивая картина jour fix'ов, двухместной каретки, визитов с нарядной женой — всё рушилось. «Ха, ха, ха!» Вспомнил он подпись в анонимном письме, и, вскочив на ноги, забегал по комнате, за ним, как фурии бежали какие-то фигуры — авторы анонимных писем и дико хохотали: «Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Мадам Ершова, жена товарища прокурора, ха-ха-ха!». А Варя всё тянула за ним руки, повёртывая в ту сторону, куда он бежал, свои жалкие, измученные глаза, жалобным надорванным голосом продолжала свою исповедь.

— Папенька пьёт, грубый — подойти не смеешь! Маменька весь день сердита — доброго слова не скажет... Подруги разъехались, я всё одна, одна, а «он» ухаживал, ласков был, слова такие говорил, пел, в роще отдыхали, жениться хотел, а там уехал — думала, умру со стыда и с горя.

Ершов остановился...

— Должна была умереть! Всякая порядочная девушка руки наложила бы на себя со стыда эдакого, в монастырь бы пошла, а то обманом клясться, клясться перед образом... ох, ох! — Ершов снова схватился за голову, — да это какое-то чудовище безнравственности: утром приобщалась, исповедовалась — цветы, цветы на себя надела, фату и под венец встала! Да как же ты смела, подлая, потерянная девушка!

— Владимир Иванович! Бог простил меня, я целые ночи на голом полу босиком стояла, целые часы молилась, днями себя голодом морила и дала обет: коли женитесь на мне — примерной женой вам быть всю жизнь... Володенька, не будьте вы строже Господа Бога, защитите меня, простите и никто, никто не посмеет слова сказать о вашей жене, если сами вы меня не выдадите...

— Никогда ты не будешь моей женой, вон из моего дома! Сейчас разбудю людей и пусть тебя, как воровку, отведут к твоей матери! А завтра же я уеду хлопотать о разводе! Да, да, ты — воровка!

— Владимир Иванович! — Варя со стоном сложила руки.

— Воровка, потому что ты украла моё доброе имя, украла мою честь, ты польстилась на мои деньги, брала подарки, опутала меня, я жил так честно, так гордо, сколько я учился, как сдержанно жил, во всём отказывал себе, всё берёг свои силы, своё здоровье, свои средства для жены, решил жениться рано, жениться на бедной, и вдруг я же, я же за все мои жертвы — осмеян, оплёван, унижен. О, Господи! — Ершов снова упал в кресло и залился слезами.

Варя встала с колен и, едва передвигая ноги, держась за встречную мебель, тихонько подошла к нему и опустила на колени около его ног. Ей страшно жаль было его, она не могла видеть слёз этого напыщенного, гордого человека, все её детские иллюзии пропали, тупоумие усталости, навеянной постом, вечной молитвой, рассеялось и теперь впервые она видела целую цепь лжи и преступлений, которые она, как во сне, совершала одно за другим. Она очнулась от страшного кошмара и ужаснулась, как вспомнила исповедь, причастие. Как могла она не внять голосу страдавшей в ней совести, не остановиться, а напротив — счесть себе в заслугу эти страдания, видеть в них искупление своей вины!

«Господи, прости, не ведала-бо что творила», пришёл ей на ум покаянный стих. «Одна Аня говорила правду: петлю затягивала я на своей шее и — затянула...»

Она тихонько, с лаской матери, дотронулась до колен Ершова и робко подняла на него большие, карие глаза, полные слёз.

— Владимир Иванович! Дорогой вы мой, виновата я перед вами, есть у меня мать, да не было около меня её материнской руки, совсем я одна шла, одна-одинёшенька, ну и заблудилась! Скажите, чем могу я поправить перед вами вину, прикажите, всё сделаю.

Ершов молчал, отмахивался рукой и плакал, в душе его повторялось одно: «Карьера, этакая карьера и изгажена скандалом в самом начале».

— Не отсылайте меня домой, убьёт меня папенька, пожалейте не меня, а имя ваше. Пошлите меня к Свиридовым, они укроют меня, спрячут от всех, а когда станете вы развод хлопотать, нужна я вам — они скажут, где я, только домой, к моим, не посылайте меня, скажите: сбежала я от вас, испугалась, как узнали вы всё и не знаете вы, где я...

Ершов снова махнул рукой:

— Ох, карьера, карьера моя! — вырвалось у него из груди, — Вот вы всё себе, да себе, что такое вы? Ну, что ты такое? Бесчестная девушка, потаскушка, брошенная любовником... Вот моё положение, моя честная труженическая жизнь за что поругана? Моя карьера за что изгажена? Моё имя опозорено — ведь сказкой, насмешкой всего города буду...

— Владимир Иванович, миленький, хороший, научите меня, что мне делать! Всё, всё сделаю.

Ершов вскочил с места.

— А почём я знаю, что вы можете сделать! У мужчин за подлость рассчитываются смертью, мужчины умеют кровью расплачиваться за свои поступки, наконец, мужчину и убить можно, на дуэль вызвать... А женщина... Что такое женщина? Она льстит, лжёт, прикидывается влюблённой, в душу залезет, самого осторожного человека обойдёт, заставит полюбить себя, украдёт его имя, его средства. Бога обманет — ей всё нипочём, потом, когда вся её гадость выйдет наружу — змеёй вертеться начнёт, у ног ползать, руки лизать, прощения просить, а всё зачем? Чтобы только остаться да получить всю выгоду жены такого человека, как я! Нет, милая, к отцу отправлю, пусть убьёт, одной гадиной меньше будет, да и другим урок.

Он оторвал от своих колен холодные, бледные ручки, цеплявшиеся за него, и бросился в свой кабинет. Варя, без слёз, сама не зная, что делает, из одного страха остаться одной, бежала за ним.

Кабинет своей массивной важностью, которой так гордился Ершов, с новой силой расшевелил его рану.

— Ведь вот это всё куплено на заработанные деньги, всё выбрано мною с мыслью о женитьбе, о солидном прочном гнезде. Господи, да за что же это! Ведь я не гнался ни за знатностью, ни за богатством, ведь я на свои силы брал всю тягость семьи, ведь я хотел одного: жениться, как женится всякий честный нищий — на честной девушке; жениться, как женился мой отец, дед, товарищи, за что же я именно попал на чужую любовницу — на осквернённую! — он схватил со стола револьвер, — Вот я называл этот револьвер мерилом моей чести, я говорил, что скорее убью себя, чем сделаю нечестный поступок, нарочно, как угрозу себе, его всегда заряжённым держал, что же, ведь я ничего не сделал нечестного, а мне теперь — хоть стреляйся.

— Владимир Иванович, миленький, хороший, застрелите меня! Я вот так, закрою глаза, чтобы только не видеть ничего, а вы застрелите меня! Богом прошу вас, миленький, убейте меня! — и Варя, подняв руки, плотно, как испуганный ребёнок, закрыла глаза. Её розовый пеньюар открылся, сквозь тонкую, батистовую рубашку, всю обшитую кружевом, сквозили нежные, стройные формы её тела: розоватая, не вполне развитая грудь, из кружевного жабо ворота шла закинутаая назад белая, круглая шея, густые, распущенные волосы, как откинутаая назад чёрная мантия, покрывали её спину, чуть не до пола.

Эта красота и молодость, заманившие его в безвыходное положение, только больше ожесточили Ершова.

— Убить тебя, чтобы пойти на каторгу, чтобы меня же обвинили ещё и в этом преступлении — ловко! — он расхохотался, — Нет, коли в тебе есть хоть капля чести и совести, то сама убьёшь себя и тем развяжешь мои руки, да только у тебя на гадости, на подлости хватило силы, а на такое искупление — никогда не хватит!.. На, стреляйся, убей себя, если хочешь, вот револьвер! Что? Трусишь? У-у, гадина! — он бросил револьвер, возле неё.

Варя открыла глаза, протянула руку, взяла маленький револьвер. Теперь её личико было вполне спокойно; глаза снова приобрели широкий лучистый взгляд.

— Владимир Иванович, покажите мне как стреляют, я ведь никогда револьвера в руках не держала, — её скорбный голос звучал простотой и искренностью.

— Ах, и убить себя не умеете, прекрасно, научить вас? Извольте! За курок, за курок, теперь назад, вот так, его отгибают отсюда назад, а потом вот этот язычок тянут, вот так, к себе, очень просто, науки тут нет, только пожалуйста револьвер, стреляются мужчины, у которых есть хоть капля чести, а таких женщин, как ты, просто выгоняют из дома! Ну, живо — марш!

Он пошёл в прихожую мертвенно-тихого дома, так как помещение при-слуги было в подвальном этаже, грубой рукой сорвал с вешалки белую ронду, в которой Варя приехала из церкви, и, вернувшись, бросил её на стул перед ней.

— Одевайтесь, вы не останетесь ночевать под моим кровом.

Варя стояла у письменного стола, держась двумя руками за кресло. Сейчас она искренне была готова умереть, но вернуться домой, вынести побои, да побои, может быть — до увечья, до смерти, от разъярённого отца... Ей стало страшно, жажда жизни охватила молодое тело, ещё раз она бросилась на колени перед мужем.

— Владимир Иванович! Владимир Иванович! Простите, сжальтесь надо мной. Отец убьёт меня, мне страшно, не могу, не пойду я к нему, нет, нет, не могу; она ползла по полу. Володя, если вы любили меня, простите, ведь я не хуже, я лучше теперь, умнее, покорнее, посмотрите, ведь я девочка, мне всего 18 лет, я столько плакала, столько молилась, простите меня, я обманула вас, потому что не смела сказать правду, боялась, всех боялась: отца, матери, вас! Простите, простите меня, оставьте у себя!

— Никогда! Никогда! Вы испортили мою жизнь, разбили карьеру, вы погубили все мои расчёты, надолго подорвали моё спокойствие, я ненавижу вас, я презираю вас за обман! Нет! Нет! Вы обокрали меня! Одевайтесь! — он схватил накидку и хотел набросить на её плечи.

— Нет! Не пойду! Боюсь, боюсь!.. Убейте меня!

Он топнул ногой.

— Да убей же сама себя, трусливая тварь!

Варя схватила револьвер.

— Хорошо! Хорошо! Подождите минутку! Сейчас. Сейчас. Только не домой, не домой!

Она подняла револьвер к виску и вдруг вскрикнув, выронила его из рук, пошатнулась, схватилась за кресло, задержалась секунду, силясь что-то сказать с широко-раскрытыми, испуганными глазами и вдруг грохнулась во весь рост на спину.

Владимир Иванович — бледный, с лёгкой дрожью в губах, стоял неподвижно, он силился остаться хладнокровным.

— Комедия! — шептал он. — Конечно, ком-м-е-дия. Встаньте! Да встаньте же! — крикнул он уже испуганный её неподвижностью и струйкой крови, показавшейся из её рта, которая потекла, как красная ленточка по подбородку, по груди, и пропала в капоте, и вдруг приступила сбоку всё шире и шире расплзавшимся пятном.

— Варвара Ник... Вар... Варя! Варя! А Варя? — он взял её за руку и отскочил, отбросив недвижимую руку уже холодевшего трупа. Под волосами его точно прошёл ветер, по лбу катились капли пота. Весь вытянувшись вперёд, он глядел в незакрытые, скорбные, молящие карие глаза, затем, сделав над собой страшное усилие воли, осмотрелся кругом... Никого... Ставня закрыта... Ни шороха! Он нагнулся и крадучись, с замиранием сердца, поднял револьвер, осмотрел его, убедившись, что выстрела не произошло, положил его на обыденное место, потом взял в руки манто, спиной пятясь к прихожей, вошёл туда, повесил его и вдруг, как безумный, нажал пуговку электрического звонка и трясясь, стуча зубами, звонил не переставая, пока услышал шум и шаги бежавших к нему снизу людей.

* * *

И честь, и карьера Владимира Ивановича Ершова были спасены. Варя умерла от разрыва сердца, что констатировали все врачи. Перед смертью молчали друзья и враги.

Владимир Иванович пышно похоронил свою безвременно погибшую подругу жизни, первым шёл в полном трауре за гробом, осыпал могилу цветами, заменил золотое обручальное кольцо чёрным железным и приобрёл таинственный интерес человека, потерявшего жену — или невесту — в ночь после венца.

Квартиру он не переменил, но липа была срублена, и долгое время после смерти Вари Брониной улица, на которой он жил, служила любимым гуля-

ньем для дам и девиц местного beau mond'a. Ершов, сидя за своим столом с грустным и покорным видом, казался погружённым в занятия, гуляющие любовались строгим видом «петербургского» кабинета и интересным вдовцом, а тот рукой в траурном кольце учился подписываться с красивым ро-счерком: «Прокурор Владимир Иванович Ершов».

ВИНТ

Николай Иванович весело поднялся навстречу гостям.
— О, Господи, Господи, много ли человеку надо, чтобы быть счастливым?! Небольшое поле...

— На четырёх ножках, — грузно захохотал сотоварищ и постоянный партнёр Вербина, Иван Ильич Колчин, раскрывая карточный стол.

— Небольшое, но избранное общество королей и дам, — добавил второй партнёр, Семён Петрович Стафьяров, раскидывая по столу вечером карты.

— А главное, таких милых и верных гостей-партнёров, — любезно проговорила Анна Егоровна Вербина, усаживаясь за стол.

— Ну, ещё бы, один в поле не воин — древняя мудрость изрекла. Семён Петрович, пожалуйста-с карточку. Ну-ка, на счастье, дёрните дамочку червей...

— На что нам дамы? Дамы в наши времена изменчивы стали.

— Вот как, Семён Петрович, вот как! Скажу, непременно скажу Ольге Николаевне!

— Анна Егоровна, своего-то партнёра верного да постоянного выдавать, жене на мужа жаловаться — нехорошо! Вот и выходит, что дамам-то верить нельзя... У меня туз пик! Одно огорчение.

— Анна Егоровна, у тебя что?

— У меня дорога — шестёрка треф.

— Всякая дорога ведёт к зелёному полю. Нам с тобой играть, ну-с, для меня в картах — ни жены, ни матери. Садитесь, господа, что время золотое терять! Иван Ильич, вам с Семёном Петровичем.

— Ну-с, шесть треф?

— Семь пик!

И игра началась.

* * *

— Ты знаешь, почему мы эту квартиру заняли, как переехали с дачи?

— Почему же я знаю... А правда — несимпатичная, почти все окна во двор.

— Потому, что здесь под боком и Семён Петрович, и Иван Ильич — партнёры отца с матерью — ведь все четверо с ума сойдут, если какой день в винт не поиграют, ну, а тут — близёхонько, хоть на роберчик, да сбегутся.

— Вот тоска!

— Ты говоришь: тоска-тоска, потому что ты дура. Сначала и я так всё говорил, а потом стал приглядываться, да и вошёл во вкус, только они ведь, жидоморы, играют по маленькой с прикупкой, а с гроздем да с присыпкой — да это так махнуть можно, с сотнями в первый же раз будешь.

— С сотнями... Да ведь не все выигрывают, и проиграть можно.

— Ну нет, ты знаешь, — глаза шестнадцатилетнего Кости заблестели. — Ты знаешь, — нагнулся он к сестре, — Я теперь, глядя на них, так наострился, что наверняка могу выигрывать, ведь я три года от карт глаз не отрываю — ведь каждый вечер играют. Для меня теперь игра — что книга, как раскрыл карты, так я безошибочно знаю, сколько возьму — уж не ошибусь. Да я уж играл.

— Что ты! Ах, Костя!..

— Ах, Настя! Скажите, нежности! А отец с матерью что делают? Всю жизнь играют, ну, и я буду, у нас ведь в училище тоже ребята горячие есть, и с деньгами, вот у Сошкина матери нет, а отца никогда дома не бывает, вот мы заберёмся к нему — раздолье!

— Да как же ты играешь, ведь у тебя нет денег?

— Сказал тебе: наверняка играю, сажусь с таким видом, что никто не подозревает, что я без гроша, а там выигрываю, у меня — система, — добавил он таинственно.

— Послушай, Костя, я думала это летом только, на даче: от нечего делать наши все играли, неужели же и в городе всегда так?

— И всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь!

— Ведь ты гляди, едва переехали, вещи порядком не расставили — а уж за карты.

Настя отвернулась от окна и оглядела комнаты — правда, портьеры ещё не все повешены, картины закрыты кисеёй, лампы тоже, всё неприятно, не на месте — а они уже играют.

Она снова отвернулась к окну:

— Костя, слушай, почему ты квартиру эту не любишь?

— Не только не люблю, а проклятой её называю, ну да зато от всех близко, да и дешёво. Здесь, — он заговорил тише, — здесь жил богатый мясник, лавки его и теперь внизу сын держит, мясник пил-пил и допил до чёртиков.

— До каких чёртиков?

— Господи, как глупы эти институтки! Чему вас только учат? До чёртиков — это значит — до белой горячки, когда человек сходит с ума, ну, ему начинают

казаться всюду чёртики, такие маленькие, чёрненькие, с хвостиком, рожками, и начинают они прыгать всюду, а он их ловит.

— Так ли?

— Ну, вот ещё, спроси, кого хочешь! Так вот, купец-то их и ловил-ловил, а чёртик — в окно, он — за ним, дело было весной, вот, гляди сюда, — Костя взял сестру за руку и нагнул её голову из открытого окна зала. — Вот тут выступом идёт такой широкий карниз, так чёртик на выступ — мясник за ним, чёртик — вот туда, в слуховое окно — мясник туда же, чёртик выскочил обратно и сел на самый край крыши, ножки свесил, мясник сел в слуховое окно и тоже ноги свесил. Сын его увидел и кричит: «Папенька, назад, назад!» А отец-то и говорит: «Н-нет! Я его, шельмеца, караюлю». Да вдруг как крикнет: «Соскочил!» Да и сам — прыг на двор, с третьего-то этажа, а сам он был грузный, большой, пузо выпяченное...

— Костя! — Настя вздрогнула и закрыла лицо руками.

Злые глаза Кости искрились: он торжествовал, что напугал до отвращения, до дрожи свою сестру — сентиментальную институтку.

— Послушай, и это всё — правда?

— Конечно правда, весь дом знает, мне старший дворник рассказывал, за то и квартиру пустили дешевле, а наши обрадовались — ведь нервами-то они не страдают. Отец говорит: ведь не в комнате он повесился, а из окна выскочил, да ещё на крышу взобрался, из слухового прыгнул — так квартира-то тут при чём?

Настя опять высунулась из окна:

— Вот по этому карнизу он и лез?

— Да.

— Так зачем же его здесь оставили?

— А чего же его уничтожить, может, и ещё кто прогуляться вздумает? Милости просим! — Костя захохотал.

— Послушай, Костя, ну это был купец, ну, мужик может, а если вот благородный? Ну, офицер, например, допьётся до белой горячки — он тоже чёртиков ловить будет? Ведь он не верит в их существование, так отчего же их-то он увидит?

— Вот про это не могу тебе сказать! Нет, не может быть, чтобы офицер или, там студент, ну, словом, интеллигент, который ни в чертей, ни в совесть не верит, видел бы таких чёртиков. Про офицера можно сказать, что он с мухой, ну, значит, их он и ловит, а купец-мясник — кого он боится? Конечно, одного черта, ну вот: у него он и прыгает в глазах.

— Да! — Настя, не отрываясь, смотрела на слуховое окно. — Так насмерть и убился?

— Ну, ещё бы: 3-й этаж, двор-то булыжный — конечно, насмерть. Пойду посмотрю игру у отца, у него, кажется, привалило, — и Костя направился к играющим.

Настя взяла книгу и села тоже к столу, потому что только там горели свечи.

Настя читала путешествие Верле, но долго не могла сосредоточиться. Возгласы играющих, их шутки и прибаутки сбивали её, но мало-помалу интерес завлёк её, и мысль её улетела далеко: «Аромат диких трав и цветов, сильный, опьяняющий, наполнял воздух, из соснового леса несло дыхание смолы, которую топило горячее солнце. По наклонным скалам красного гранита, покрытым редким кустарником, ползла ящерица и вдруг, почувствовав жаркий луч солнца на своей пёстрой спинке, прижалась к горячему камню, сладострастно закрыв глаза...»

Настенька опускает книгу и мечтает: перед ней восстаёт жаркий, недвижимый полдень, красные скалы, молодой лесок и эта крадущаяся ящерка с пёстрой спинкой.

— Барышня, о чём мечтаете? Бросьте книжку — только глазки портите. Пожалуйте ко мне, принесите старику счастье, — говорит Стафьяров, тасуя карты.

Настя не слышит и снова читает:

«Мне стало грустно. Счастье, лучшее мирское счастье — любовь — прошла мимо меня... Пустая, бесцельная жизнь!»

— Настя-а! — окликает её строго отец, — Не слышишь что ли, что тебе говорит Семён Павлович?

Настя вздрагивает и устремляет на отца свой широкий томный взор.

— Я не слыхала, папенька.

— Лучше бы ты была милой хозяйкой, — говорит ей мать и передаёт вынутые из кармана ключи, — поди-ка, распорядись, чтобы нам дали закусить. Между роберами можно и передышку сделать, — обращается она к партнёрам, — Ох, привалило: два без козыря!

Настя встаёт и идёт в столовую, где прислуга уже зажгла висячую лампу. Теперь, когда она слышит шорох своих шагов и входит одна в длинную темноватую столовую, страх, нагнанный на неё братом, опять сжимает ей горло, её охватывает ужас при мысли, что именно здесь, за столом, напивался толстый мясник, и из-за шкафа, с карнизов картин, с печки, из-за складок оконных портьер на него глядели маленькие чёртики, рогатые, вертлявые, с высунутыми языками, и прыгали, и качались перед ним, зацепившись хвостом. Холод проходит под волосами у Насти, дрожащими руками она расставляет тарелочки, блюдца и лихорадочно звонит, беспрестанно требуя у прислуги то одно, то другое. Покончив с приготовлением закуски, она быстрыми ша-

гами идёт из столовой и вздрагивает, когда у самых дверей, в ещё не повешенном на место, но только прислонённом к стене зеркале, отражается её худенькая тёмная фигурка. В гостиной всё ещё играют, а она уж не решается подсесть к ним с книгой, а между тем — углы большой комнаты тонут в темноте. Тогда она берёт лежащие около отца спички и зажигает огарки в кронштейнах у пианино.

«Warum» Шумана вновь переносит её туда, где, словами поэта, «люди грустят, не зная, о чём, сожалеют не зная о чём, стремятся, не зная к чему...»

— Ах, Господи! Да ведь я совсем не то вам показал, что хотел, — раздражается отец, — ведь невозможно играть под эту музыку.

— Настя! А, Настюша! Брось, дружок, своё бречание, завтра днём поиграешь, как я на службе буду, а теперь ты мне все соображения разбиваешь!

Настя покорно встаёт из-за пианино и медленно ходит из угла в угол. Она бы опять села к окну, но это страшное слуховое окно, в котором, свеся ноги, сидел самоубийца... Нет! Ни за что! Она подходит к матери:

— Мама, я пойду спать, у меня голова болит, можно?

— Маленький шлем в бубнах! Вот мы как! — объявляет мать.

— Мама, я хочу пойти спать.

Мать рассеянно отстраняет её рукой.

— Хорошо, хорошо! Ступай! Маленький шлем объявлен с руки — каково!

— Пока, спокойной ночи!

— Ты мне должна была дать прикупить, и не самой брать — был бы большой и вовсе не на бубнах.

— Что? Спать? Хорошо, хорошо! — кидает она дочери и, не глядя, суёт ей руку для поцелуя.

Костя только сердито ведёт плечом, когда Настя подходит прощаться к нему.

Со страхом Настя сидит в одной рубашке и нижней белой юбочке, глубоко забившись в кресло. Горничная помогла ей снять платье, заплела волосы и ушла. Комната Насти — в одно окно, узкая, длинная, как мешок. У дверей налево стоит её кровать, покрытая белым пикейным одеялом с длинной кисейной оборкой и с горсткой подушек. За кроватью в линию стоят этажерка с книгами и дешёвыми безделушками на верхней полке, затем кресло, в углу — туалетный столик, так же как у гадающей Светланы, весь покрытый белым, с довольно большим зеркалом, завешанным русским полотенцем. У окна со спущенной белой шторой стоит крошечный рабочий столик и возле — другое большое кресло, на котором она и сидит. На полу разостлан дешёвенький пёстрый ковёр.

Насте всего 18 лет. Она только весной вышла из Института и, в сущности, мало знает своих отца и мать, а к семейной их жизни только приглядывается. Прежде отец служил в одной из западных губерний, где и жил с матерью, она же и Костя были с 8-ми лет отданы — она в институт, он — на полный пансион в училище. На большие праздники их брала к себе старуха-тётка, сестра матери, добрая умная женщина, умершая год тому назад, как раз в то время, когда Вербина перевели служить в Петербург. В выпускном классе на праздники домой не отпускают, и потому Настя, собственно, только с весны узнала, что значит свой дом и своя семья.

Настя любила свою светлую узенькую комнатку, которую всю могла охватить глазом — в ней не было ни одной тяжёлой драпировки, где мог бы спрятаться злодей или притаиться привидение, на которое так щедро было её институтское воображение. Под кроватью и под пышной юбкой белой кисеи, окружавшей её туалетный столик, она всегда смотрела раньше, чем ложилась спать. Сегодня она ещё при горничной заглянула в эти оба подозрительные пункта, но затем, вместо того, чтобы лечь в кровать, она закрыла за горничной дверь и села в большое кресло. На столике перед ней горела лампа под шёлковым абажуром и розовым отблеском румянила смуглое личико девушки. Настя потянулась взять книгу, лежавшую под лампой, и вздрогнула, когда в большом туалетном зеркале увидела своё лицо, а между тем, зеркало отражало хорошенькую девушку с овальным личиком, с густыми волосами, чёрными, прямыми и лосными, как вороново крыло, гладкий лоб, узкие брови с изгибом, почти сходящиеся на переносице, правильный носик с подвижными ноздрями, довольно большой рот с тонкими ярко-красными губами, за которыми влажно блестели белые зубы, немного острый подбородок с ямочкой посередине, широкие бархатно-тёмные глаза, вспыхивавшие при всяком волнении.

Настя, как все институтки, рвалась домой; почти не зная своей семьи, она идеализировала и родных, и свою жизнь с ними. Она думала много читать под руководством отца, гулять и работать с матерью, жить душа в душу с братом — а встретила холодных эгоистов, устроивших свою жизнь без всякого расчёта на вмешательство в неё детей. Оба были ласково-холодны с ней, оба искренне считали себя вполне хорошими родителями на том основании, что поили, кормили, одевали и не стесняли девушку.

— Что дальше? — объявил на первых же порах отец. — Мы тебя вырастим, теперь уж сама направляй свою жизнь, как хочешь: читай, работай, изредка вывезем тебя в театр, ну, лето на даче. Знаешь английский принцип воспитания — «помогай сама себе»? Вот ты и находи сама в себе своё удовлетворение.

— По-моему, — объяснила ей мать, — моя задача кончена, ты теперь — взрослая девушка, настолько хорошо воспитанная, что ничего неприлично себе не позволишь, а в пустяках я тебя стеснять не хочу. Захочет Бог, так найдётся жених, а собирать их мне неоткуда; из дома тебе идти незачем, хлеба и тряпок на твою жизнь хватит, а скучать ты не можешь, на то тебе и дано образование.

Этим исчерпывались все обязанности родителей к Насте, ей оставались только все знаки наружного уважения к ним и холодных поцелуй утром и вечером. Девушка, выйдя из шумной, жизнерадостной толпы подруг, очутилась одна: без опоры, без направления ещё не сложившихся убеждений, без ласки, без умения вне семьи приобрести себе какие бы то ни было отношения. Слонялась из угла в угол длинными вечерами, когда отец и мать погружались в винт, по их мнению, никого не стесняя и не мешая заниматься, чем хотят.

Но чем? Чем наполнить эту скучную жизнь? Костя сердитый, только пугает и дразнит. Книги, которые нравятся ей, только мучают её, всё говорят о каком-то счастье — упоительном, тревожном, о жизни, полной чувства и любви. Что такое любовь? О, если бы полюбить кого-нибудь! И Настя близко-близко нагибается к зеркалу. Два больших влажных глаза глядят на неё и таинственно, странно мерцают из глубины зеркала, щёки пылают румянцем, сквозь улыбающиеся губы блестит снежная полоска зубов.

«Какая я хорошенькая теперь, — думает Настя, — я буду такая, когда полюблю».

И девушка, откинув голову назад, смеётся тихим, воркующим смехом. Полюбить — но кого? Господи, какая тоска — этот противный, вечный винт! И с потухшими глазами, с побледневшим лицом Настя отошла от зеркала и легла спать.

* * *

— Сегодня вечером я тебе представлю жениха, — объявляет на другой день Костя сестре, входя к ней в комнату после обеда.

— Как жениха? Ещё что?

— Говорю, жениха. Товарищ... только он гораздо старше меня, ему 24 года, брат его со мной в одном классе.

— Кто же придёт к нам, твой одноклассник?

— Нет, его брат, Андрей Владимирович Ершов, чиновник особых поручений при каком-то министерстве.

— Что же он у нас будет делать, твой чиновник особых поручений? Играть в винт?

— Нет, за тобой ухаживать, — Костя расхохотался.

— Глупо, — Настя отвернулась от брата и стала смотреть в окно.

— Вообще не так глупо, как ты думаешь, ему нужен отец, потому что его начальник — друг отца и может ему помочь в какой-то командировке, вот он и хочет у нас бывать. Сегодня я его привезу, а ты не зевай, запускай глазенапы, в командировку и поедете вместе, — и Костя снова расхохотался. — Ты думаешь, если сама о себе не позаботишься — родители о тебе подумают? Держи карман шире! Вот кабы у них партнёр заболел, да винт расстроился — тут бы они забегали, а до всего остального им и дела нет. Так ты не зевай, устраивай сама свою партию. Да чего ты всё в окно смотришь? — Костя лениво встал с кушетки и подошёл к Насте, — ах, это ты всё на слуховое окно любишься? Да? Я так и вижу эту картину: купчина вылезает, сперва показывается его широкая, бледная, до безобразия озлобленная рожа, чёртик раздражил его, и теперь уж он готов залезть на край неба, чтобы схватить и оторвать ему голову. Лезет, крадётся, как тигр, глаза кровью налиты; вылез, сел и свесил ноги, тяжело дышит и глаз не спускает с карниза, а тут вот, у самого желобка — чёртик, эдакий маленький, тоненький, рыльце острое, как у крысы, глаза — две искры, хвостом вертит, облизывается, скалит зубы и беззвучно хохочет, да вдруг — прыг!

— Ах!

— Чего ты кричишь, мать услышит!

Но Настя, дрожа, схватила за руку брата, лицо её побледнело, веки трепетали, быстро-быстро взмахивая ресницами и без слёз, из горла её вылетал тихий стон.

— Да что с тобой? Господи, вот институтская дурь-то! Ты не вздумай ещё в истерику хлопнуться! Настя, Настя, да ну тебя, перестань! — Костя тряс её за плечо.

— Ни-че-го, ни-че-го, прой-дёт, — зубы Насти стучали.

— Да на тебе воды. Господи, вот наказание! — он поднёс ко рту сестры стакан с водой, — Пей!

Настя заставила себя глотнуть воды, затем глубже вздохнула и уже сознательно выпила полстакана.

— Слушай, Костя, если ты так меня будешь мучить, ещё про этого чёртика станешь рассказывать, я папе пожалуюсь. Ты уж добился того, что ночи не сплю, днём боюсь по пустой комнате пройти, а в окно меня так и тянет, так и тянет на этот карниз глядеть.

— Нежности телячьи — тянет! Отчего это меня никуда не тянет? Говори отцу, если хочешь, тебе же хуже: с тобой во всём доме только я и говорю, а уж как сфискалишь — слуга покорный! — меня не поймаешь. И чего это страш-

но, не понимаю. Сентиментальности одни, — и Костя, засунув руки в карман, посвистывая, вышел из комнаты, а Настя, всё ещё тяжело дыша, легла на кушетку и с тоской прислушивалась, как где-то ставились уже карточные столы, и отец распорядился купить мелков и вымыть щёточки.

— Вас, барышня, просят в гостиную, гости приехали, — доложила Насте горничная.

— Сейчас приду, идите, Саша.

Горничная вышла, а Настя вдруг вспомнила слова Кости о женихе, и ей стало любопытно взглянуть на нового человека. Она пригладила чёрные бандо своих волос, расправила пышные рукава хорошо сидевшего на ней синего платья и вышла.

— Нет, я не играю в винт, благодарю вас, не беспокойтесь обо мне, я не соскучусь, мы с Костей старые друзья.

Настя остановилась у дверей и слушала. Голос был мягкий, несколько певучий. Подойдя тихонько к спущенной портъере, она сквозь щёлку взглянула в гостиную, там уже играли на двух столах. Возле Анны Егоровны, немного нагнувшись к ней, стоял незнакомый ей молодой человек с тщательно пробранным пробором, по обе стороны которого волной лежали густые белокурые волосы; чистое, замечательно-белое лицо с лёгким румянцем, мягкими усами; глаз она не могла разглядеть, но опущенные золотистые ресницы были густы и длинны. Настя раздвинула портьеру и вошла. Молодой человек поднял голову, и девушка увидела два светло-серых глаза с неприятными, слишком резко-чёрными зрачками. Но первое впечатление почти страха перед этими холодными, зоркими глазами исчезло, как только лицо гостя осветилось улыбкой красивого рта. Под улыбкой менялось всё выражение лица, ресницы несколько прикрывали глаза, клали на них тень и придавали глубину.

— Молодая хозяйка! — отец прижал к груди веер своих карт, — Займись-ка гостем, который ещё не играет в винт.

— Слышите? — любезно обратилась Анна Егоровна, — Ещё не играет. Мы надеемся, что скоро скажем: уже играет в винт.

— Да, в наш век молодому человеку, который хочет бывать в обществе, не практично не играть в винт, — захихикал Стафьяров.

— Не практично? — гость ласково улыбнулся.

— Ещё бы! Предположите, что вам надо переговорить с «лицом», а лицо это — любит в винт. Что же, возле него сядете и станете говорить о деле? Ха! Ха! Ха! Не советую! А вот постарайтесь-ка встретиться с ним за одним столиком, да хорошо с ним сыграть: после винтика-то уж он ваш, с партнёром своим он уж говорит, как со знакомым. Так, Иван Ильич?

— Верно, верно, как в аптеке. Кому сдавать? — Колчин нетерпеливо постучал картами по столу.

— Мне, мне! — заволновалась Анна Егоровна, — Костя, а Костя! Познакомь сестру-то... Четыре бубны!

— Вот заладила — бубны.

— Шесть пик! Вот тебе! — Вербин про себя считал пальцем взятки.

— Сестра Настя.

— Настасья Николаевна! — гость низко нагнул свою красивую голову, и тонкий запах «датуры» дошёл до Насти.

— Вот китайские церемонии с сестрой, товарищ! Я говорю — просто Настя, — Костя расхохотался, — ну, а тебе представлять, или ты уж догадалась, что это и есть Андрей Владимирович Ершов?

Молодые люди разговорились.

— Пойдёмте в зал, что здесь торчать-то, благо они сегодня устроились в гостиной.

— Настя, сыграй что-нибудь, спой! — крикнула им вслед Анна Егоровна.

— Мама, ведь мешать будем, папа...

— Тогда мы в зале играли, а сегодня здесь. Ведь можно, Николай Иванович?

— Что? Музыка? Можно-можно, я страшно люблю, когда Настя играет, только того... Закрой двери поплотнее, да не очень громко играй. Батюшки! Да вы что это, Иван Ильич? Моего-то короля да козырем? Да где же это видано, чтобы у своего партнёра взятки отбивать?

— Ну, уж не взыщите, с этими посторонними разговорами я голову потерял. Лучше не играть совсем, что направо и налево, и молодой человек, и музыка, и уж я не знаю, что... — горячился Волчин.

— Что правда, то правда, я и сам не треплю этой болтовни при серьёзном деле. Ну-с, мой валет, что вы на это скажете?

— Вы поёте, Андрей Владимирович?

— Почему вы так думаете, Настасья Николаевна?

— Поёт, поёт, конечно, ты попроси его «Ночи безумные» вот с тобой, в дуэт, — Костя открыл пианино и стал рыться в нотах.

— Так из чего же вы заключили, что я пою, Настасья Николаевна?

— Так... — Настя сконфузилась, — Я, подходя к гостиной, как только услышала ваш голос, подумала: верно, вы поёте.

— Да? Вы очень наблюдательны, — Ершов крутил усы, пристально глядя на Настю.

Девушке опять стало неловко от его взгляда, она отошла к брату, взяла из его рук ноты и положила их на пюпитр.

— Споём?

— С удовольствием! — Ершов стал против неё.

Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи несвязные, взоры усталые...
Ночи, последним огнём озарённые,
Осени мёртвой цветы запоздалые!

Есть звуки, есть слова, не отличающиеся особенной глубиной и смыслом, но они обладают волшебным даром будить тоску, дремлющую на дне души всякого сколько-нибудь нервного человека, и как призыв — глубокий, нежный, беспредельно грустный, располагают сердце к откровенности.

Настя пела мягким чистым сопрано, голос Ершова был тёплый, не высокий, но замечательно выразительный баритон, слова лились ясно и получили значение ласки.

Пусть даже время рукой беспощадною
Мне указало, что было в нас ложного...

У Насти слёзы стояли в голосе. Звуки лились, наполняли комнату и говорили о каком-то исчезающем, неизведанном счастье, о недостижимых мечтах, обманутых иллюзиях.

— Чёрт вас возьми, как вы хорошо поёте! — Костя сдержанно захлопал в ладоши, — Ну, ещё, ещё что-нибудь!

— Нет, я больше не могу, — Настя отошла от пианино.

— Да ну, не ломайся, спой.

Но Ершов поддержал Настю:

— Нет, довольно пения, мы лучше поболтаем. Вы любите луну, Настасья Николаевна?

— Ну, завели канитель — он, она, балкон, луна... Я лучше пойду посмотреть, как в винт играют, сегодня на втором столе товарищ отца, Павлов, — вот я вам скажу, играет! Что твои «Ночи безумные». Артист! Он их сегодня разнесёт, как по нотам! — и Костя ушёл, не заботясь о том, что бросает сестру с совершенно чужим ей человеком, как не заметили и родители, увлечённые винтом, что Костя жадными глазами следит за большой игрой на втором столе, а дочь уединилась с только что представленным ей гостем.

Настя и Ершов сидели в крытом балкончике из цветных стёкол. Низенькая, мягкая мебель, ковёр, драпировка японского шёлка, наполовину задёрнутая, — всё придавало этому уголку таинственную интимную прелесть, а полная луна, стоящая на небе, заливала весь балкон трепетным серебряным светом, играя в цветных стёклах, рисовала бледно-алые, голубые, фиолетовые передвижные звёзды и пятна, придававшие балкончику фантастический вид восточного храма.

В душе холодного, расчётливого карьериста Ершова шевельнулось что-то забыто-преlestное, как детская сказка, а милая девушка — хрупкая, нежная, с широкими тёмными глазами, глубокими и влажными — заставила тревожно и ново забиться его сердце.

— Когда я гляжу на луну, — начал Ершов, подвигаясь к Насте и говоря вполголоса, — я всегда вспоминаю гимн луне, которым Апулей начинает свою одиннадцатую книгу сказок о зелёном осле: «Мне всегда бесконечно жаль луну, и поэтому я люблю её, — говорит Апулей, — люблю в осенние ночи, когда она, как испуганная, бежит среди облаков, ныряя под них, бледная, тревожная, точно спасаясь от какой-то погони, или, напротив, точно стремясь по следам кого-то, желая застигнуть и захватить». В детстве я читал или слышал от кого-то, а может быть, видел во сне ещё одну сказку о луне: «Луна была невестой солнца, а звёзды были гости, приглашённые на свадьбу. Венчание было назначено вечером, но солнце сознательно коварно обмануло свою невесту: на глазах у всех оно закрылось пурпурной мантией, задрожало целым снопом золотых лучей и зашло, оставив землю любоваться заревом, медленно замиравшим водами. Когда луна взошла, солнце уже закатилось, закрыв облаками своё побледневшее лицо, луна бросилась бежать, бежать, а звёзды мигали, мерцали и вздрагивали, как смеются насмешливые гости чужому несчастью. С тех пор луна всегда бледна, таинственна, её обожают люди с тревожным сердцем, на неё с тоской глядят влюблённые, ей поклоняются поэты, её холодный сквозящий свет говорит о загробной жизни, о чём-то коварном, жестоком и прекрасном».

Ершов замолчал, глаза его с полуопущенными веками странно и пристально смотрели на девушку. Настя нагнулась вперёд, руки её, стиснувшие одна другую, были холодны, губы полуоткрыты, глаза полны наивного, детского восторга — так с ней никто не говорил, такой глубины, такой поэзии в обыденных речах она не встречала никогда! И когда Ершов кончил, она не пошевелилась, чувствуя, что он берёт её руку, и только когда он поднёс её к губам, густая краска покрыла её лоб, щеки и шею, и она встала, полная смущения.

— Простите мою фамильярность, но я поцеловал вашу руку, не как светский кавалер, а как очарованный пилигрим, целующий покрывало Мадонны. Вы напоминаете мне известную картину девы, идущей с неба по полосе лунного света с двумя лилиями в руках, если бы я был художником, я именно так написал бы вас.

Настя, нервно смеясь, вышла из фонарика в зал, где только у пианино тускло горели две свечи. Девушку вдруг охватило какое-то особое радостное чувство, точно свершилось что-то новое в её жизни, точно какая-то завеса, скры-

вавшая много света и весёлого шума, раскрылась перед ней, точно в сердце её проснулась Эолова арфа и зазвучала, всё наполняя смехом и песней.

— Мы одни, как странно! — вдруг вырвалось у неё, и нежный переливчатый смех наполнил всю комнату.

Ершов отвечал смехом, его тоже подхватила волна веселья и шуток.

— Нас бросили, мы будем жить с вами в том фонарике, как арабы в пустыне.

Оба снова засмеялись. Настя на цыпочках подошла к двери гостиной, тихонько открыла её и глядела в щёлку спущенной за ней портьеры. Ершов последовал за ней, и оба, нагнув головы, стояли близко, почти касаясь волосами друг друга, почти смешивая в одно своё взволнованное дыхание.

Очевидно, никто из игравших не думал о них. На одном столе кончали игру. Николай Иванович сводил счёты, Анна Егоровна с тревожным лицом заранее отсчитывала свой проигрыш; с другого стола до них долетали сдержанные, почти сердитые голоса: «Шесть пик! Малый шлем без козырей!» и т. д. Костя сидел возле Павлова, лицо его было бледно, рот открыт, глаза выражали зависть и восхищение.

Ершов и Настя поглядели друг на друга и вдруг, как школьники, отскочили от двери и принялись тихо смеяться.

— Костя-то, Костя! — говорила Настя, и снова смех душил её.

— Заметили Павлова? — шептал Ершов, — Ведь это не винт, а какое-то священнодействие.

— Ну, пора бы и закусить! — раздался голос Николая Ивановича, и Настя, тихонько всплеснув руками и прошептав Ершову: «Достанется мне, ведь я и забыла присмотреть в столовой», — проскользнула в противоположную дверь, а Ершов, приняв свою обыденную, «готовую к услугам» физиономию, раскрыл портьеру и вошёл к играющим.

С этого памятного дня жизнь Насти изменилась: в сердце её расцвёл голубой цветок надежды, радости и любви. Смуглое личико девушки одухотворилось, глаза заблестели, точно внутри неё зажёгся божественный огонь. Смех её и песни звенели с утра до вечера; вся квартира Вербиных преобразилась, ничего в ней не прибавилось, ничего не было нового, но мебель стояла иначе — уютней, цветы на окнах и в корзинках были составлены группами, занавесы портьеры подобрались красивыми складками, на слишком яркие колпаки ламп легли салфеточки цветного шёлка и смягчили, согрели их резкий свет.

И ни отец, ни мать не замечали ничего: их праздничное утро, как и весь день, и вечер было посвящено винту; их будни: у отца — службе, у матери — хозяйству и необходимым визитам, поддерживавшим отношения с «нужными» людьми.

Ершов не играл, а потому считался ничем для хозяев дома, он, так сказать, не входил в бюджет их жизни. И время шло! Недели мелькали незаметно, среди них было несколько вечеров, прелестных для молодёжи, потерянных и глупых для стариков, когда Вербины считали долгом съездить с детьми в театр.

Ершов обыкновенно тоже брал себе билет в партер, в антрактах к Вербиным в ложу заходил кто-нибудь из знакомых партнёров, начинался разговор о той или другой замечательной игре, шли споры, смех и оживлённые толки, кончавшиеся всегда приглашением к себе или условием сойтись у того или другого.

Настя и Костя выходили в коридор, Ершов присоединялся к ним, они шли в фойе, пили лимонад, ели конфеты, смеялись, болтали и, в толпе поднимаясь по лестнице, молодой человек всегда находил возможность сжать в своей маленькую ручку, опущенную, ждавшую этого ласкового прикосновения. Выходя из театра и подсаживая Настю в наёмную карету, он прижимал к себе тоненькую гибкую талию девушки, и Костя смеялся, замечая всё и потирая руки, а старики не видели ничего и только радовались, что прошёл бесполезный вечер, пожертвованный ими ради детей.

Раза два в неделю Вербины обязательно бывали у знакомых на карточных вечерах. Костя в эти часы всегда удирал тоже играть в винт с товарищами. Настя оставалась с Ершовым, который приходил всегда при стариках и при Косте. Уезжая, Вербины всегда прибавляли одно и то же: «Ну, вот и прекрасно, играйте в 4 руки, пойте, а главное — потолкуйте с Костей, он должен гордиться, что приобрёл такого солидного друга, как вы». Едва закрывалась за стариками дверь, как Костя отзывал Ершова в сторону (последнее время, замечая ухаживания товарища за сестрой, злой, распущенный мальчик стал нахальнее).

— Вот что, Андрей, ты одолжи мне рублишка три-четыре, припишу к общему счёту, еду играть.

Ершов морщился, но давал, и влюблённые оставались одни.

Мягко светила бледно розовая лампа на высокой колонке в углу зала. В цветном фонарике было почти темно, только звёзды чуть-чуть мерцали то синим, то жёлтым огоньком, да уличный фонарь, приходившийся совсем напротив, мигал красным глазом, точно предупреждая их, что он настороже, и когда потухнет — будет час ночи, и Ершову надо бежать, чтобы не встретиться с возвращающимися хозяевами.

Плюшевые диванчики, глубокие и круглые, охватывали мягкими объятиями сидящую в них пару. Ершов терял голову, Настя не умела защищаться, и ласка за лаской, поцелуй за поцелуем, как роза, ошипанная холодной жёст-

кой рукой, теряет лепесток за лепестком, так Настя отдаёт всё, что составляет красу и гордость, честь и прелесть чистой девушки.

— Однако, Костя, я бы хотел поговорить с тобой серьёзно, — останавливает однажды Ершов своего друга, когда тот, убегая по обыкновению из дома, просит у него пятёрку, которую припишет к остальному счёту.

— Не теперь, не теперь! Веришь ли, как ждут? Хочу отыграться.

— Нет, именно теперь, мне надоело ждать.

— Ну, ладно. В чём дело? Пойдём в мою комнату. Настя, у нас секрет! — Костя подмигивает ей, — ступай в зал играть своего Шумана, а мы потолкуем.

Настя догадывается, что разговор будет о ней, и потому покорно уходит и садится у пианино, но вместо того, чтобы играть, она вдруг роняет голову на руки и рыдает. Ей страшно. Что такое Костя? Злой, испорченный мальчишка. Что же с ним говорить? Где же отец и мать, которые должны были бы знать всё, что делается с их дочерью? Почему она не смеет говорить с ними? А как хотелось бы ей припасть к груди матери и выплакать, высказать всё!

— Ты это что же повадился у меня чуть ли не каждый день деньги требовать? Ты думаешь, потому что мне неловко отказать при Насте...

— Ага! Стал Настей звать, я же с первого раза говорил, что лишние церемонии напрасны, — цинично хохотал Костя.

Ершов покраснел и смягчил тон.

— Дело не в том, как я зову твою сестру, а в том, что у меня лишних денег нет, сам едва перебиваюсь, ты, кажется, это хорошо должен знать. Отчего ты не попросишь у отца?

Костя свистнул.

— Попробуй! Ты думаешь, у них есть хоть лишняя копейка? Оба играют по большой и оба — несчастливо. А ведь каждый день проигрыш да проигрыш — ведь это что-нибудь да значит! За меня в училище прорву платят и только из самолюбия, я бы давно в юнкера пошёл.

— Да разве у них нет состояния?

— Было. Да ведь отец-то в провинции иначе как в штосс не играл, оттого он и перевёлся сюда, что последних лошадей продали, здесь-то можно жить, как живут, а в провинции — стыдно!

— Вот оно как! — процедил Ершов, — А ведь я считал их богатыми...

Костя по привычке грубо расхохотался.

— На приданое рассчитывал? Нет, брат, тут не поживишься: благословение, тряпки...

— Послушай, ведь ты обещал мне протекцию твоего отца.

— Так кой же чёрт не велел тебе играть в винт? Пока не выучишься, и случая не найдёшь с ним поговорить, да и отец тебя за мальчишку будет

считать, а в сущности, ты знаешь, он добрый человек, и эту командировку, о которой ты так мечтаешь, он бы тебе одним словом мог получить — твой-то начальник — его друг детства.

— Так выучи меня в этот проклятый винт играть!

— Где же я тебя учить буду? Здесь ты с Настей в амуры играешь, к товарищам моим ты не ходишь. Пойдём сегодня, у нас игра хорошая будет, ты в три приёма поймёшь, в чём дело, довольно тебе с Настей-то киснуть! Всё равно проку никакого не будет. А нет — женись, она девушка хорошая.

— А чем же мы жить-то будем?

— Акридами и диким мёдом. Родители и рады бы в рай, да грехи не пустят.

В этот вечер Настя осталась одна. Ершов, под предлогом страшной головной боли, уехал с Костей.

Для Насти потянулся ряд мучительных дней. Бедное неопытное сердечко её ныло. Поцелуи и ласки Ершова она считала страстной любовью. Без подруг, из предположений и откровенности которых всегда познаются те тайны, которые так тщательно институт скрывает от своих воспитанниц, без руководящей ласки матери, без нравственной поддержки отца, умеющего внушить девушке гордость и правила чести, Настя шла, как в потёмках, инстинктивно понимая, что какие-то тёмные силы окружают её и губят. Теперь она не искала уж, как прежде, а боялась объяснения с матерью. Исчезновение Ершова теперь — теперь, когда его обязанность была бы не покидать её и ясно, открыто встать в семье как жених, а не томиться, не прятать от всех свои ласки, не уговаривать её молчать, не подавать вида о том, как близко стоит к ней этот, в сущности, всем в доме малознакомый человек.

Последнее время глаза Ершова холодно, пристально останавливавшиеся на ней, снова начинали пугать и смущать её. Она поговорила бы откровенно с Костей, но Костя глядит только из долга и тоже считает потерянным вечер, когда не составила там, у его товарищей, партия винта. Но что теперь с Андреем? Здоров ли он? Отчего не был целую неделю? Она как-то раз и спросила Костю, тот ответил ей дерзостью.

— Кабы меня держалась, я б тебе дал совет, а ты ко мне с презрением, с угрозами отцу насплетничать — вот теперь и кусай локти! Жених-то — ау! Был, да весь вышел! Это я тебе свинью подложил, — и он с хохотом убежал.

Как — ау? Что это значит? И Настя, бледная, вялая, ходила из комнаты в комнату, бралась за работу и, задумываясь, роняла её на колени, открывала книгу и читала долго-долго, пока не замечала, что обученная память произносила внутри неё слова, не освещённые пониманием, и на вопрос она не могла бы ни слова повторить из прочитанного.

— Костя, прошу тебя, не гляди на меня с такой насмешкой, что я тебе сделала? — не выдержала она как-то, встретив в упор злобный взгляд брата.

— Не нюнь, ради Бога, ничего ты мне не сделала, ничего и я тебе не делаю.

— Костя, скажи мне, отчего Андрей Владимирович так давно не был у нас?

— Потому что он тебе готовит сюрприз.

— Сюрприз? Мне?

— Да-с, великолепнейший сюрприз — скоро узнаешь, — и Костя, посвистывая, повернулся на каблуках.

А родители продолжали играть в винт, лица их сияли, когда игра устранилась на трёх столах, обычные остроты сыпались, хорошие игры провозглашались торжественно, чья-нибудь ошибка обсуждалась и после игры, пространно и с полным вниманием, всей аудиторией. Что рядом их собственная дочь проиграла лучшую ставку своей жизни, на их глазах сделала роковую ошибку — никого это не интересовало, никто даже ничего не заметил.

— Bravo, bravo, Андрей Владимирович! Ну, батенька, поразили: из молодых, да ранних! — услышала Настя возглас отца и, едва дыша, остановилась за портьерой гостиной.

— Я говорила, что мы скоро скажем, что вы уже играете, — добавила мать.

— Играет? Андрей играет? — и тут же ей вспомнились слова брата: «Он готовит тебе сюрприз».

«Может быть, он действительно сделал это для неё — он хочет ближе сойтись с отцом и матерью, чтобы не рисковать отказом, когда будет просить её руки? Может быть!».

Настя вошла.

Снова на неё устремились слишком светлые глаза, и снова чувство недоверия и страха охватило её, но, мгновение — густые золотистые ресницы прикрыли глаза, смягчили взгляд, и перед ней снова было красивое, любимое лицо её Андрея.

Целый вечер томилась Настя, сидя в углу, бессмысленно глядя на игру в винт, и когда после каждого робера партнёры меняли места, она незаметно переходила тоже, чтобы видеть лицо Андрея Владимировича, но часто в течение целой игры она не могла поймать его взгляда: он играл сосредоточенно, хладнокровно и привёл в восторг Николая Ивановича.

— Bravo, bravo, Андрей Владимирович! То есть, когда это вы так выучились? Да не может этого быть, чтобы вы раньше не играли!

— Не играл, Николай Иванович, но дал себе слово: во что бы то ни стало сразиться с вами. А то что же это: я у вас в доме бываю, да как чужой. Я вот из самолюбия быть вашим партнёром и выучился.

— Спасибо. Вот это редкость в нашей молодёжи, чтоб так хотеть угодить старикам! И до чего вы кстати, и сказать не могу! Ведь наш добрейший Иван Ильич завтра уезжает в отпуск на неделю. Я просто испугался, как он объявил, думаю, кто нам его заменит? А вы тут как тут — чисто providение!

И час ночи пробил, в столовой уже накрыли ужин, а винт всё ещё продолжался.

К ужину разнеженный Николай Иванович обнял за талию молодого человека и усадил рядом с собой.

— Почему это я не встречал вас до сих пор у Бородина?

— Василия Степановича?

— Ну да, ведь он ваш прямой начальник, кажется.

— Да. Только, откровенно говоря, я кроме поздравления на праздники да по особому приглашению в семье его превосходительства не бываю.

— Напрасно, напрасно! Прекрасная семья! Правда, там молодёжи нет, по вечерам тоже играют в карты, а бывать не мешало бы. Да вот — в эту пятницу их день, я беру вас с собой вместо Ивана Ильича. Со своим, значит, партнёром, ха-ха-ха!

Прошла ещё неделя, и, хотя Андрей Владимирович бывал почти каждый день, Настя только изредка могла перекинуться с ним двумя-тремя словами. Он успокаивал её, прося ждать и молчать.

— То есть, как всё хорошо складывается! Сегодня как раз вернулся Колчин, — объявил за обедом Николай Иванович жене.

— Да, вовремя! — Анна Егоровна подвинула к Насте блюдо с пирожными, — Отчего ты не ешь?

— Не хочется, благодарю вас.

— Да ты нездорова? — и первый раз за долгое время Анна Егоровна пристально посмотрела на дочь, — Ты чего такая бледная? У тебя болит что-нибудь?

— Нет, ничего.

— А ничего не болит, ничего не нужно — так нечего и лицо мученицы строить, — вступил отец, — Ей-Богу, не понимаю я нынешней молодёжи! Всего у вас вдоволь, свободой пользуетесь Уж, кажется, ни я, ни мать не стесняем вас, в театр возим, образование дали, играй себе на рояле, пой, читай, вышивай, займись хозяйством, ну, наконец, хоть кокетничай, насколько прилично девушке — ведь вот был молодой человек, Андрей Владимирович! Так нет, до того не умела с ним обойтись, что он со скуки к нам, старикам, присоединился, в винт стал играть.

— А славный, славный молодой человек. Я рада, что ты выхлопотал ему эту командировку. Ты слышишь, Настя?

— Как же! Какую командировку? — Настя едва шевелила губами.

— Как же, на два года за границу, вчера уехал. Господи, да чего ты?

Настя качнулась и, упав со стула, уже лежала в обмороке на полу.

— Я всегда говорил тебе, Анна, что она слишком тянется, вот уже три дня я замечаю, что она едва ходит, всё забывал тебе сказать.

— Саша! Саша! Помогите! Лейте воду! Держите барышню!

Настю перенесли в её комнату, она скоро пришла в себя, и мать сделала ей строгий выговор, что она тянется и ничего не ест. Другой причины Настя не сказала, да, очевидно, её и не было. Успокоенные родители стали собираться в гости на винт.

Настя открыла окно в своей комнате, был уже конец октября, но у неё зимняя рама была ещё не замазана и отворялась свободно. Вечер стоял замечательно тёплый, грустный, туманный, но вот тучи прорезала полная луна, взошла на небосклон и, бледная, трепетная, осветила такую же бледную и трепетную девушку.

Настя высунулась из окна. Под ней, как чёрная пасть, лежал узкий двор, ряд освещённых окон чужих квартир лживо говорил о тихой семейной жизни в кругу приветливых ясный огней. Под самым окном её шёл довольно широкий карниз и, огибая их зал, из окна которого они когда-то глядели с Костей, вёл к круглому слуховому окну — тому самому... Настя вздрогнула и закрыла руками глаза. Дверь её с шумом распахнулась, и вошёл Костя.

— Вот ловкая шельма этот Ершов! Ты знаешь, какую он штуку со мной удрал? Ведь у нас там буря была, родители на винт опоздают, пойди, первый раз в жизни! Отец рвёт и мечет... Ты слушаешь?

— Слушаю.

— Вот собирается отец, взял уж шляпу, я стою в прихожей и жду, когда уберутся, вдруг письмо, понимаешь? Отец разрывает конверт, читает, да как крикнет на меня: «Вот ты как?!» Мне что — я молчу, потому что так много за собой знаю, что боюсь начать, не зная, с чего оправдываться. А он: «Ершов пишет, что ты у него перебрал 67 рублей и проиграл, про-иг-рал!» А я и говорю: «Чем же я виноват, если у меня наследственная страсть к картам?» Мать: «Ах!» Отец: «Выдеру!» Я шапку в охапку, да драла! Обошёл дом да по чёрному ходу — к тебе. Саша говорит: уехали наши-то, ну, значит, угомонятся, не впервые. А только какой же подлец Ершов, ты только подумай! Я его ввёл к отцу, чтобы только он получил командировку, ну и — ловкая бестия — получил! За тобой ухаживал! Хорошо, ты не поддалась, я ведь вашу сестру знаю, кабы что случилось — ты бы такой рёв подняла, что святых выноси, а молчишь — значит, ещё ничего. Так вот, я и говорю — молодец ты, а кабы что — ведь отец убил бы тебя, просто убил, а мать прокляла бы, ведь с их

гоном-то — разве переживёшь, чтоб партнёры все пальцем показывали, что одна, мол, дочь, да и ту не уберegli! Это, матушка, не на один вечер винт расстроился бы.

Костя залился хохотом.

Боль, как клещами, захватила сердце Насти: ей хотелось кричать, рыдать, все невыплаканные слёзы, все невысказанные обиды терзали ей грудь.

— Ты, ты во всём виноват! Ты злой, бессердечный мальчишка! Ты... — она задыхалась.

— Ах вот как, сестричка? Я во всём виноват? Так я виноват, что вы ловили жениха, да не поймали? Что целовались, обнимались, а он насмеялся? Конечно, лучше было оставить тебя одну сидеть, запершись в этой комнате, и глядеть в окно на карнизе, который ведь тянет тебя, да? Тянет? Конечно, я здесь лишний, у тебя здесь своя компания. Ведь в этой самой комнате и была спальня купчины, здесь и увидел он первого чёртика.

— Вон! Вон! — крикнула, дрожа, обезумевшая Настя.

И Костя, испугавшись её искажённого лица и безумного голоса, с наглым криком: «Оставляю вас в компании», выскользнул из комнаты. Настя осталась одна. Одна ли? Слёзы её высохли, но холод охватил плечи, морозом прошёл под волосами. Она не смела повернуться, не смела дышать и, пятясь, дрожа, опустила на кресло возле окна. И вдруг её охватило одно желание: бежать, бежать и броситься к ногам матери, прижаться к ней, спрятать голову в её платье и молить, молить спасти своё дитя... Но ведь матери нет... Она там... Играет... И вдруг она почувствовала, что какая-то чужая страшная сила приковала её к месту: она не может ни встать, ни пошевелиться, её держит кто-то... Это из окна... Кто-то протянул холодные длинные руки... Кто? Кто? В углу послышался шорох, ближе... Ближе... Крадёт, ползёт... Да кто же это?

— Спасите! Спасите! Я не могу, не могу! — Настя рванулась с нечеловеческой силой, вскочила с кресла.

Кто-то был в комнате, кто-то незримый медленно, страшно подступал к ней! Вот дышит... близко... Возле... Он!.. Он!.. Настя очутилась на подоконнике. Как в сне, с остановившимися, страшно раскрытыми глазами она спустилась из окна на карниз и медленно, ловко как кошка, держать за стену, спиной к двору, прокралась мимо окон зала, шагнула налево — вот крыша... Слуховое окно... Тяжело дыша, она держится за выступ, оглядывается назад — он... Он сидит на карнизе, свесив длинные чёрные ноги... Вот он сползает, сползает... Выгнулся на спине, держится одной шеей. Прыг!.. И со страшным криком подстреленной птицы Настя, оторвав руки от слухового окна, летит на крупный булыжник двора.

О ПОЛОЖЕНИИ НЕЗАМУЖНЕЙ ДОЧЕРИ В СЕМЬЕ

Проступая к рассмотрению одного из самых жгучих вопросов женской жизни — положению незамужней дочери в семье, считаю нужным высказать своё убеждение, что пришло не только время говорить об этом, но настала неотложная нужда решить этот вопрос.

Предварительно, однако, обращаюсь с несколькими словами к моим читательницам: отдавая на ваш суд мой труд, я прошу вас помнить, что никакие частные случаи не могут входить в соображение, что при обсуждении этого вопроса надобно вполне отрешиться от узкого личного взгляда и встать на ту широкую точку зрения, которая состоит в том, что каждое отдельное существо, в силу своего появления на свете, должно иметь свою особую индивидуальную жизнь, которая должна оставаться его неотъемлемой собственностью, и та ячейка, в которой зародилась жизнь, должна способствовать к сохранению этой жизни, к её развитию и впоследствии — к выделению её для самостоятельного существования в мире. Так поступает вся природа, так должен поступать и человек. Это есть тезис личной свободы. Это есть краеугольный камень моей статьи. Взрослую, окончившую свой школьный период, незамужнюю дочь в семье я рассматриваю как существо, имеющее право на такую же свободу мыслей, слова и дела, как и её мать, отец, брат, за которым в известные годы и признаются все эти права.

Я буду иметь в виду наш обыкновенный, средний, интеллигентный круг. Я не беру низший класс, где нужда давно поставила дочь почти в нормальные отношения к семье, начиная с самых молодых лет: помогая во всём хозяйстве, она, с развитием физических и умственных сил, пропорционально своему прилежанию и способности к работе, становится ценным вкладчиком семейного благосостояния, личностью. Свободно располагающей своим досугом и часто — даже заработком. Как в деревне, так и в городе, среди того же простого класса, дочь по своему желанию покидает дом и идёт на заработок.

Я не буду говорить об аристократии, где воспитание идёт наряду с такой высшей дрессировкой — на подкладке семейных традиций, общественных требований и страха потерять что-либо из своих прерогатив, что требования свободы и индивидуальности являются лишь как редкое исключение. Я буду говорить о среднем классе общества, где чаще всего встречаются два типа: дочь-барышня — украшение семьи до 20-ти лет, а далее — нередко обуза и лишний член семьи, или дочь возмущившаяся, бросившая семью и составляющая, по понятиям окружающих, их стыд или гордость.

Во многих семьях примерная дочь должна иметь следующие качества: полное отречение не только от самостоятельных поступков, но и от самостоятельных мыслей, отсутствие вкуса, так как её может одевать и кормить по собственному вкусу мать, отсутствие воли. Так как она должна спать, есть и гулять в установленные родителями часы, отсутствие умственных потребностей, так как она может читать только то, что ей дадут, писать и получать письма только под контролем родителей, отсутствие симпатий, так как она может иметь знакомых только с ведома матери, отсутствие свободы, так как она не может выходить и гулять одна или, по крайней мере, не сказав, куда, зачем идёт и когда вернётся, отсутствие интересов в своей семье, так как её считают часто лишним посвящать в закулисные тайны средств и отношений семьи. Прибавьте к этому, что мать, часто ещё сравнительно молодая при взрослой дочери, не отказывается от личной жизни, желания нравиться, первенствовать и не желает понять, что пришла пора поставить жизнь дочери впереди своей. Становится как бы соперницей дочери: та должна молчать, когда говорит мать, хотя бы сумела возразить более оригинально и умно, она не смеет оспаривать высказанных матерью мнений, так как это неприлично. И в душе той и другой зарождается почти враждебность — положение, из которого единственный разумный выход — разлука. К этому надо прибавить, что всё, что получает дочь, не составляет её неотъемлемого права, а как бы дарится ей матерью, и за всё она должна высказывать признательность и благодарность, за всё платить приветливостью, любезностью и покорностью. Весёлый, довольный вид такой дочери есть обязательная маска благовоспитанности. Если бы такую дочь, хорошо одетую, имеющую массу ненужных безделушек, вывозимую в театр и на балы, спросили: чего ещё она может желать в своей завидной доле, она бы наверно ответила: чтоб меня оставили в покое и дали немного личной свободы. Но тут является вопрос: могла ли бы такая дочь разумно пользоваться своей свободой?

Идеал свободы один, но применение свободы чрезвычайно изменяется: есть свобода духа и слова, свобода дела, свобода безделья, свобода злых поступков.

Разбирать все эти выражения свободы мне не позволит размер моей статьи. Читательницы и без пояснения понимают, как слово «свобода» варьируется по степени образования, психического развития и темперамента. Удел такой покорной дочери — быть обезличенной и обессиленной, и единственный выход — замужество. Оставленная же без помощи на свободе, она неминуемо должна пропасть в жизненной борьбе.

Девушка, возмущившаяся и бросившая или расставшаяся, так сказать, любовно с семьёй, бывает двух типов: первый, печальный, нежелательный

тип — девушка темперамента, которую пустая скука заставила искать свободы, права поступать по своему произволу и пользоваться жизнью; второй тип — девушки духа, сознавшей свои силы и ищущей их применения. Многие, очень многие такие девушки могли бы рассказать нам печального из истории своего освобождения из-под гнёта любящей семьи, о своих потраченных силах на жестокую междоусобную войну, своих помятых, поруганных иллюзиях, насчёт любви к себе своих близких. Есть и такие дочери, которые ушли на тернистый путь науки и дела с согласия и благословения своих матерей.

Если задаться вопросом: может ли взрослая дочь, живя со своей матерью, иметь с ней одни общие интересы, одни симпатии, одни понятия и жить с матерью без тяжёлых уступок, без поглощения одной другой? Придётся ответить: почти никогда. Без особых, редких причин, главой семьи не может быть дочь, а двух главенствующих сил не полагается в семье, значит: одна должна или уступить, или удалиться. Вся суть в том, чтобы удалиться со смыслом, с тактом, не нарушая ни любви, ни связи с семьёй.

Чего требуют дочери? Своей самостоятельной, хотя бы и не отдельной от семьи жизни, своего права приобретать жизненный опыт, хотя бы путём ошибок и заблуждений, нести ответственность за свои поступки, не быть вечно на помочах, вечно под опекой и руководством старших, иметь своих друзей и знакомых, свои симпатии и антипатии и главное в доме, в заботах о доме в трудах по хозяйству или даже по приобретению средств, иметь свою определённую долю труда и значения, иметь смысл своего пребывания в доме, потому что для развитой девушки не достаточно только получать, а надо и сознавать право на получение всего.

Я, может быть, слишком сгущаю краски, говоря о положении девушки в семьях, так как за последние 20 лет образование дочери с одной стороны, понятия семьи с другой, сделали такой громадный шаг вперёд, что везде в семьях дочери дышится легче и спокойнее, что, наконец, существуют исключения, где мать живёт душа в душу с дочерью и полная психическая связь их не нарушается даже замужеством последней. Но это только счастливое исключение, в общем же — положение незамужней дочери в семье бывает безотрадное и слишком обезличенное. Замужество до сих пор считается конечной целью жизни каждой девушки, и дочь, обманувшая в этом отношении надежды своих родных, чувствует себя в 25 лет как гость, приглашённый погостить, но не умеющий вовремя уехать, сделавшийся лишним и всем в тягость. Никогда сына не торопят женитьбой, никогда настойчиво не задаются даже мыслью — женится он или нет. Мало того, часто женитьба его очень огорчает семью, потому что она в нём лишается материальной поддержки;

страх же перед тем, что дочь останется старой девой, желание сбить с рук члена семьи, который требует только попечения и расхода, заставляет часто сбить девушку за мало-мальски подходящую партию. Разве так бывает в крестьянских семьях, где девушка — равноправный работник с парнем? Если бы наши дочери не знали ложного стыда и страха остаться незамужними, если бы, наконец, у каждой была своя самостоятельная жизнь, замужество не манило бы их прелестью свободно выходить и выезжать, и принимать, если бы они были убеждены, что семья нуждается в их присутствии, что мать и отец счастливы сохранить их как можно дольше около себя; разве, спрашиваю, сами они бросались бы так необдуманно, неосторожно на всякое предложение?

Что более всего пугает девушку в семье? Что заставляет её, потеряв надежду на замужество, стремиться к отдельной, самостоятельной жизни? Это римское *Patria potestas*, т.е. неограниченная власть родителей над дочерью до её выхода замуж. Наш закон хотя и ограничивает это право возрастом 21 года, но экономические условия нашей жизни и до настоящего времени дают возможность господству над нею неограниченной власти родительской. Самая необеспеченность девушки в материальном отношении отнимает от неё уже всякую самостоятельность, так, например, даже после смерти главы семьи, в то время, когда сыновья получают львиную долю, дочери должны довольствоваться $\frac{1}{4}$ частью недвижимости и $\frac{1}{8}$ движимости. Правда, в последнее время замечается смягчение подобного закона, но не посредством его отмены, а путём жизненной практики, как признание идеи справедливости, причём это совершается двояким способом: или по духовному завещанию главы семьи, который распределяет равные части как сыновьям, так и дочерям, или же братья, нравственно воспитанные, сами понимают несправедливость подобного закона и выделяют сёстрам доли, равные своим.

Наше законодательство о наследстве в общем обходит женщину, например, при наследовании в боковых линиях: «сестра при брате не наследница». Далее, наследство считается вымороченным, если никого не осталось в живых из рода, к которому принадлежал отец, хотя бы из рода матери и оставались наследники. Не служит ли это обездоливание дочери в смысле материальном — побуждением ей стремиться к собственному заработку, к собственному рублю, который один может дать ей возможность существования и без отцовских наследий.

По моим годам, я стою уже на самой вершине горы жизни, и теперь мой путь уже с горы назад, и не вернёт он ошибок, которые пришлось делать самой при воспитании детей, не исправит, но по крайней мере теперь, с вершины горы, бросив сознательный взгляд на всё прошлое, хочется поделить-

ся своим опытом с теми, которые ещё идут в гору, и указать им те рвы и стены, в которые мы падали, о которые мы расшибали головы.

Вот почему написала я свои думы и мысли о положении незамужней дочери в семье; вот почему я постараюсь указать и на выход из этого положения.

Наши девушки учатся много, слушают много курсов, но специалистов пока у нас мало, и за исключением докторской и учительской профессий (в широком смысле) все остальные — шатки и мало приносят пользы, а между тем в этом — спасение наших дочерей. Каждый мальчик свободен выбрать себе профессию, так и девушка: после обязательного общеобразовательного курса должна, сообразно своим способностям и влечению, изучить какую-нибудь специальность не дилетантски, а основательно, как средство к существованию — от медицины, языковедения, бухгалтерии до шитья шляп, корсетов и кулинарного искусства, от декламации, живописи до сценического искусства. Как бы то ни было, но в 16-18 лет она обязана выбрать свою карьеру, проходить сообразно ей тот специальный курс, который даст ей возможное совершенство. Пусть между нашими дочерьми не будет ни одной неспособной заработать свой хлеб, ни одной, которая смело не могла бы выйти, может быть, на очень тяжёлую, но самостоятельную дорогу.

Недавно ещё известный английский учёный, винчестерский епископ Крофт, обращаясь в одной из своих проповедей к молодым девушкам, сказал: «Ищите своё дело, своё собственное, личное дело и затем принимайтесь за него. Вы спросите меня: «Но какое же моё дело?». Я отвечу вам: это то, о чём вы думаете чаще всего, к чему больше всего лежит ваша душа, то дело, о котором говорит вам внутреннее сознание, что вы способны исполнять его. Лучше раз ошибиться в своём призвании, нежели никогда не найти никакого». Жить и пассивно исполнять намеченные строем общества задачи — ещё не значит жить.

Жить — значит сознательно вкладывать душу и способность в исполнении дела, такого дела, которое не только в минуту гибели всего вокруг вас может дать вам средства к существованию, но и всегда может служить источником успокоения и заработка.

Вот такое-то дело и должно быть у каждой из взрослых девушек, и исполняют ли они его, живя в семье, или отделившись от неё и живя самостоятельно — это уж деталь. Каждая взрослая, незамужняя дочь, если может содержать себя, должна иметь право, если этого пожелает, на самостоятельное выделение себя из семьи, и на этот акт свободы семья должна смотреть не с ужасом и гневом, а должна быть готова прийти на помощь. Положение незамужней дочери в нашей семье ужасно именно тем, что мы её не воо-

ружаем к жизни, а напротив, отнимая от неё волю в мельчайших делах, тем самым обезоруживаем и обессиливаем, а главное — искусственно держим в неведении жизни.

В Америке существуют специальные курсы, развёртывающие перед взрослой девушкой всю реальную правду жизни: все обязанности жены и матери, учат её свой трудный путь не превратить в Голгофу. Глава того учебного заведения, в котором кончает курс девушка, обращается к матери с вопросом, желает она или нет, чтобы дочь её посещала эти курсы. Если она соглашается, то со всей осторожностью, со всей честностью и мягкостью её, так сказать, вооружают к жизни, показывают ей не только подводные камни, но и средства спасти себя от крушения. Если же мать желает взять на себя всю ответственность, то дочь её этих курсов не проходит.

Жизненный опыт доказывает, что девушка, знакомясь с нормальной жизнью, с требованиями брака и материнства, не теряет ни прелести девственной чистоты, ни своей нравственности. Напротив, искусственно, беспочвенно воспитанная идеалистка скорее стремится ко всему запрещённому и тайному. Девушка слишком невинная делается часто жертвой своего незнания, а девушка со связанной свободой, даже в мельчайших поступках её жизни, воспитанная на традициях необходимости замужества, без разбора хватается за первое попавшееся предложение, лишь бы получить желаемую свободу. А сколько разочарования, отвращения и горя часто испытывает невинная девушка, сегодня ещё ничего не знающая о жизни, а завтра отданная во власть мужа. Итак, резюмируя всё сказанное, скажу: незамужняя дочь в семье будет только тогда иметь своё легальное, прочное положение, когда она получит одинаковые права со своим братом, для чего ей следует дать не только одинаковое с ним общеобразовательное развитие, но и специальное дело, которое могло бы создать ей своё независимое положение, свой кусок хлеба, чтобы никогда не слышать унижительного сознания: я ничего не умею делать и, если никто не поможет мне, — я погибла. При этом под словом «помощь» подразумевается жизнь на чужой счёт. Мы, женщины, так боремся за равноправность, так горячо отстаиваем свою свободу, так ратуем за право жить на свой счёт и сбросить навсегда с себя нареkanie «законных содержанок», а между тем не хотим понять, что всё это в наших руках и зависит не от наших речей и статей, а от живого дела воспитания наших дочерей. Сплотитесь же! Обсудим наше женское дело и хоть детям нашим дадим свободу и счастье! То и другое лежит в труде и нравственности. Пусть наши дочери поймут, что брак не есть единственный исход женской жизни, что в чистом безбрачии есть и своя поэзия, и свой почёт! Пусть дочери наши трезвее, шире глядят на свет божий и верят, что и им открыт путь к самосто-

ательной жизни. Пусть каждая девушка изберёт себе дело, но не для препровождения времени, а для заработка, тогда, видя перед собой возможность содержать саму себя, она спокойнее и чище будет смотреть на мужчину, она в нём будет искать друга, мужа, но не содержателя. Она будет иметь право предъявить к нему больше требований, и мужчине глупому, нечестному или расслабленному, потерявшему в оргиях жизни здоровье и молодость, будет труднее находить себе жену, если даже он и богат. Когда на долю таких людей останутся тоже девушки только неспособные, ленивые или болезненные, то и общий уровень мужской нравственности подымется. Когда мужчина поймёт, что ему надо заслужить хорошую жену, что он перестал быть султаном, которому стоит бросить платок — и его всегда подхватит какая-нибудь молоденькая девушка, он начнёт уважать женщину и считаться с ней. Матери! Я обращаюсь к вам: дадим нашим дочерям настоящий семейный очаг, пусть он греет их и вблизи, и далеко, пусть семья будет для каждой взрослой дочери не гнётом, не судьёй, а первой опорой, первым оплотом. Пусть всякая дочь, дойдя до совершеннолетия, имеет право оставить семью, если пожелает, пусть всякая имеет право вернуться в неё, если не найдёт в себе силы к самостоятельной жизни!

Пусть смелый опыт, неверный шаг не будет ставиться ей как преступление, но, напротив, встретит в семье и сожаление, и разумную поддержку. Я не зову дочь из семьи, не говорю ей — беги, а только стою за то, что семья не должна поглощать её индивидуальность, посягать на её личность, её свободу. Я не призываю дочь ко враждующей самостоятельности, напротив, лучший тип, самый деятельный — это дочь, сумевшая сделаться полезным и деятельным членом в своей семье. Я только говорю: дайте каждой, каждой, даже самой неспособной, свой труд, свою дорогу, свою возможность не жить всю жизнь на содержании других. Отбросьте ложный стыд, и дочерей, неспособных к научному образованию, делайте честными ремесленницами, а не барышнями-дилетантками!

Мужчина путём жизненного опыта давно понял, что общее образование, как бы ни был высок его уровень, хотя и открывает ему широкий горизонт умственных и нравственных наслаждений, никогда не даст ему того материального обеспечения, которое ему даёт специальность; вот почему он сузил свой кругозор, измерил свои силы и после общеобразовательного курса избрал себе одну какую-нибудь дорогу. Где найдёт себе место юноша, блестяще кончивший гимназию или реальное училище? Какая карьера открыта для него? Самая печальная — чиновничья с канцелярской рутинной и отупляющим, почти механическим трудом, тогда как для специалистов или по крайней мере для хорошего работника в известном ограниченном райо-

не деятельности открыт всегда путь к совершенствованию и к обеспечению себя. Пришла пора и девушке подумать о том же самом. Всё дело только в том, чтоб она поняла, что поле её деятельности не всегда может быть одним и тем же с мужчиной, что её специальность часто должна быть чисто женской, т.е. приуроченная к её полу и силам, а главное — пусть только наша дочь поймёт, что унижительного труда — нет, и что труд и знание облагораживают каждую специальность. Когда пойдут интеллигентные портнихи, хозяйки, ремесленницы, то самые и слова эти перестанут быть синонимом дешёвого и унижительного труда, и самая среда этих деятелей облагородится и получит почётное название интеллигентных тружениц. Матери всецело виноваты в том, что из их дочерей вырастают пустые светские куклы, рвущиеся из дома, горизонт мечтаний которых — любовь, а конечная цель жизни — замужество. Таких дочерей вынянчило безделье, а развили романы и бесконтрольное, ненаправленное отношение к окружающей жизни. Наши дочери живут скачками, короткими периодами от куклы к гимназии, от гимназии к выпуску, от выпуска к замужеству. Чудная весна их жизни, поэзия детства, сила юношества, реальное, невозвратное счастье веры, любви к людям и светлой надежды на свою собственную жизнь, — не только отнято от них, но часто вовсе им не знакомо. В ребёнке должно развивать сознательное счастье жизни, которое лежит в самом процессе здоровой нормальной жизни, сознание своей физической ловкости и силы, а для нравственного развития — вселить в него убеждение своей полезности окружающим. Это составляет громадное счастье, и притом счастье не головное, а физическое, ощущаемое кровью, нервами, мускулами. Вот это-то первое счастье матери должны развить в дочери-гимнастке играми всевозможными, подходящими к её возрасту, работами и главное — убеждением, что она есть звено семьи, её полезный, необходимый член. С первых проблесков сознания дочь должна в семье занимать своё определённое место: нести долю своих семейных обязанностей и потому, вырастая, сознавать своё не только родовое, но и человеческое приобретённое право на всё, чем пользуется семья. Мы в своей женской жизни наставили себе перегородок, которые не только сами признаём за непреодолимые горы, но ещё такими же делаем их и для наших дочерей.

Мы не посмели признать, что для женщины доступен всякий труд, и разделили его на мужской и женский, на унижительный и благородный. Мужская сила, мужские нервы и мужская самоуверенность опережали нас веками, и потому первое разделение ещё долго будет существовать — но вторая и самая серьёзная преграда в нашей свободе создана нами самими и нами же должна быть разрушена. Есть труд физический и труд умственный, труд

тяжёлый и лёгкий, приятный и неприятный, но унижительного труда — нет. Вот этот тезис должен лежать в основе воспитания дочери, с него мы должны начать её деятельность. Кто из нас не слышал в своей жизни фраз: «Они держат свою дочь в семье, как прислугу». А я скажу, в бедной семье не должно быть прислуги, как её нет ни в американских, ни французских небогатых семьях — есть работница, большую часть приходящая для всех, так называемых «чёрных» работ, исполнение которых самим дороже будет стоить в смысле порчи платья, обуви и траты времени, тем более, что учиться делать такие работы никому не надо, так как они требуют только физических сил. Остальное всё должна делать мать и наряду с ней — подрастающая дочь; делать с любовью, делать наилучшим образом, находя удовольствие в том, чтобы этим скрасить, упорядочить своё помещение, стол и весь ход жизни — вот когда дочь в семье дойдёт не только до покорности в труде, но до сознания его необходимости и найдёт нравственное удовлетворение в исполнении его — она спасена. У нас ещё есть девушки, которые не стыдятся вышивать ковёр, на котором будет стоять плевательница Мазини, а стыдятся шить мужскую рубашку для больницы.

Когда мы тем из наших дочерей, которые в силу каких бы то ни было причин не могли идти путём высшего образования, привьём религию труда, нравственное уважение себя и дисциплину — в смысле сознания своих сил и уважение к окружающему их строю жизни — нам нечего бояться, если они захотят отделиться от семьи и начать свою самостоятельную жизнь; связь с семьёй не разрушается, и они не пропадут в жизненной борьбе.

Храните, опекайте, воспитывайте дочь до её совершеннолетия и затем вооружите её, приготовьте к жизни и откройте перед ней двери свободы.

Матери! Свобода и равенство женщин — в ваших руках.

Скажу несколько слов о положении незамужней дочери в семье разных национальностей. Я не была в Америке и могу руководиться только литературой этой страны. Что же касается Германии, Франции и Англии, то, живя подолгу в этих странах, я близко познакомилась с этим вопросом. В Америке самый счастливый возраст женщины — её девическая жизнь, а потому она не спешит с замужеством, и в 25 лет считается ещё совершенно молоденькой девушкой. Как всякая молодая раса, заботящаяся более всего об упрочении своего потомства, о продолжении процветания своей страны, американцы с глубочайшей привязанностью и заботой относятся к своим детям. Отец-американец никогда не остановится ни перед какой жертвой, не только денежной, но и касающейся собственного его счастья и спокойствия. Там, где дело идёт о воспитании детей, эгоизм родителей молчит, нередко муж расстаётся с женой и на долгие месяцы, если не годы, остаётся один, работая для

наиболее роскошного содержания семьи, воспитание или здоровье которой требует другого климата или города. Мать, за исключением болезни, всегда кормит сама своих детей. Муж её посещает клубы, ездит на охоту, она же почти не расстаётся со своими детьми, она их старшая сестра-гувернантка, она — душа и смысл детской жизни. Дочь с 15-ти лет уже может считаться свободным человеком. В ней настолько развита самопомощь, настолько вкоренились честные правильные отношения к мужчине, что факт падения девушки из хорошей семьи чрезвычайно редок. До своего замужества она пользуется почти полной свободой, имеет свои деньги, свои часы для пользования экипажем, своих подруг, свои дела и свои удовольствия, с замужеством же, в котором её воля имеет решающий голос, жизнь её изменяется и, сделавшись матерью, она уже в свою очередь добровольно отказывается от всякой самостоятельной жизни.

Во Франции почти никакая достаточная семья не воспитывает детей у себя дома. Француженки избегают кормить своего ребёнка и, под предлогом вредных санитарных условий в больших городах, новорождённых детей отсылают по фермам и деревням; в аристократических же семьях их окружают штатом кормилиц и нянек: вообще дети играют активную роль в семье только короткое время, от 5-10 лет, когда их возраст ещё не может подчёркивать года матери и служить только предлогом для детских балов и феерий, затем девушки аристократии отдаются в монастыри, играющие роль наших институтов, где им стараются искусственно создать полное незнание всей прозы жизни. Большею частью девушки, окончившие курс в таком монастыре, отдаются замуж за человека почти незнакомого, но их круга и соответственного им материального положения. О положении в семье такой девушки и говорить нечего; она служит цветком, украшением, вся её роль сводится к тому, чтобы извлечь наибольшую силу из своей красоты и очаровывать — словом, практиковаться — чтобы впоследствии властвовать не только над мужем, но и вообще над мужчинами, в среде которых ей придётся вращаться. Дочери офицеров, разорившейся интеллигенции редко выходят замуж. Они составляют контингент гувернанток, наставниц, учительниц музыки и т.д. Буржуазия же воспитывает своих дочерей в самом практическом духе; жениха ищут как партии, а симпатии и антипатии девушки мало принимают в расчёт. Так как во Франции мало больших семей, то дочь, большей частью, согласная со взглядами матери и деятельная помощница её во всех практических делах, не может быть в тягость семье, но нигде девушку так не стерегут от увлечения, как во Франции, и потому до замужества она там пользуется наименьшей свободой. Нигде сама жизнь так не раздражает, не развивает чувственность, как во Франции и, может быть, в силу того же —

нигде девушка-невеста не высказывает такой абсолютной, слепой, наивной невинности. Поддельной или настоящей — это другой вопрос. Во Франции всё дышит чувственностью: сцена, литература — исключительно трактуют о любви, измене и ревности, нигде так тонко психологически не разбирается женская красота и её физиологическое влияние на мужчину, ни один язык не создал, вернее не выработал в себе тех особых слов, которыми объясняют необъяснимую женскую прелесть: *suggestive, troublante, enervante*. Вся мануфактура Франции работает на женщину, для неё делают самые мягкие, тонкие ткани самых нежных и разнообразных цветов, видоизменений полос, рисунков, сочетаний оттенков и красок. Для неё драгоценные камни превращаются в бриллиантовую росу, украшающую её волосы, самые тонкие ароматы, оригинальная, странная, как бы капризно-нервная мебель, вошедшая в моду в последних годах — всё для неё: «*tout pour la femme*» говорят французы. Женщина — их идеал. Любовь — их культ, и всё это ложь. Для своего наслаждения, для своих обострённых страстей создал себе мужчина из женщины роскошную, нежную игрушку. И это рабство любовного поклонения развращает, унижает женщину, и женщина во Франции мстит за себя, она не хочет больше быть матерью, не хочет быть женой, или, по крайней мере, отвергает брак как таинство, неразрывно связывающее двух людей; процент рождаемости ослабевает, количество женщин свободных — в смысле холостых, пользующихся жизнью — возрастает беспрестанно, возникают странные по невероятной обстановке процессы, и из всего этого во Франции народилось два новых типа девушек: тип девушки *androgine* и девушки *demie-vierge*.

Androgine — девушка бесполоя, со страстями, но без способности любить, с пустой душой, с истерзанными нервами, со стремлением к невозможной эпилептической поэзии, к оргии звуков, красок, положений, доводящих до исступления и не оставляющих после себя ничего кроме пустоты и полной прострации, из которой выход один: опиум, наркотики, вино, и... сумасшедший дом. Вот чудовище, которое пожрёт мужчину за то, что он создал его, вот поэтический вампир, который высосет из мужчины мужество, благородство, силу, способность к труду, гордость и ум.

Demie-vierge — полудевственница, тип, созданный всё той же искусственной цивилизацией. С самого нежного возраста девушка, обособленная от всякого нормального отношения к жизни, выросшая среди изнеживающей, дразнящей чувственность, роскоши, воспитанная в атмосфере, сгущающей тайны её девственности, чующая всюду кругом себя какой-то волшебный покров Изиды, который будет снят с неё «его рукой» и этот «он» — является для неё носителем тайны, касающейся всего её существа; и вот взволнован-

ная, раздражённая, с рано разбуженными половыми инстинктами, девушка ищет разгадки, идёт к мужчине, и, мало-по-малу, шаг за шагом, поцелуй за поцелуем, оставаясь фактически девушкой, теряет свою девственность. Она снимает покров с тайны брака не путём науки, или честного, постепенного разоблачения самой жизнью, а проникается вся ядом бессильного, губительного разврата. Вот *demie-vierge*, вот полудевственница, вот взрослая незамужняя дочь в семье, данная нам в последнее время французской литературой. Французская женщина нашла орудие своей борьбы с мужчиной в практичности. Для большинства француенок красота, грация, беспечный смех, флирт и пикантная гривуазность служат только маской, приманкой, в сущности — каждый шаг и каждая улыбка таксируется во столько-то, и каждое добавление, как блюдо в ресторанном меню, имеет свою цену. Девушку среднего класса воспитывают в религии гроша, и наряду со своим неземным видом и с тайной жадной наслаждения, в ней уживается отличная хозяйка-распорядительница, в коммерческом смысле — нередко торговый компаньон мужа.

Если французскую женщину исключили из умственной жизни страны, то экономическое состояние без неё не обойдётся, и нередко мужчина остаётся пустой фирмой, а женщина — душой дела. Если во Франции мужчина не очнётся, не обуздает своих — не скажу даже страстей, а погони во что бы то ни стало и когда бы то ни стало за чувственными наслаждениями — он погибнет, измельчает, выродится, и его поглотит женщина: женщина-коммерсант, политик согнёт его шею, а женщина вампир-куртизанка высосет его силу и кровь.

К счастью, в последнее время в жизни французской девушки уже начался переворот; французская литература громогласно признала, что, по остроумному выражению Марсель Прево, в жизни французской девушки произошло два краха: первый — нравственный, второй — материальный. Нравственный — вследствие тлетворного влияния литературы и общественной жизни, материальный — вследствие непомерно развитой потребности к роскоши, вследствие чего девушка, вступая в брак, приносит с собой всё меньше и меньше тех качеств, которые делают священным семейный очаг, и всё больше и больше требований той всесторонней роскоши, которую принято называть скромным словом «комфорт».

400 тысяч франков считаются во Франции хорошим приданным, между тем как на проценты с этой суммы едва можно жить, так сказать, прилично, в светском смысле этого слова. Вот почему за последнее время против воспитания девушек во Франции поднялся почти всеобщий протест. Газеты и журналы заговорили о переменах воспитательной системы, о закрытии

знаменитых аристократических монастырей и о том, чтобы воспитание и образование девушек изъять из рук клерикальной партии.

Пересаженная на более простую, суровую почву нормальной жизни, девушка не потеряет ни своей грации, ни невинности, но предъявит к жизни более здоровые, осмысленные и чистые требования.

Немецкая женщина до сих пор проявляла только слабую попытку к самостоятельной жизни, а эмансипация девушек почти не идёт дальше поступления на место гувернантки или учительницы. Отчасти это происходит оттого, что дочь с самых ранних лет становится помощницей матери во всех делах хозяйства и, вырастая, делается искусной экономкой, хозяйкой, знающей все ресурсы семьи и сводящей всё к её благосостоянию. Выделение такой девушки из семьи — скорее бедствие, чем облегчение. В семьях же более обеспеченных женщины поглощены значением мужчины, замужество есть её идеал, а положение, чин мужчины так велики в глазах её, что жена за ним даже теряет свою индивидуальность. В Германии существуют Frau Oberstin, Frau Commerzrätin, даже Frau Stallmeisterin.

Несмотря на воспитание, ставящее женщину на второе место всегда за спиной мужчины, даже не как его помощницу, а только как хранительницу его здоровья, интересов и спокойствия домашнего очага, немецкая девушка в семье счастлива — традиция не выработала для неё других идеалов: шитьё, вязанье, вышиванье и весь цикл разнообразных женских изящных рукоделий занимает все её досуги, а цветами, скрашивающими всё это служат: религия, обрядность которой и уважение к пасторам строго придерживаются почти во всех семьях, и поэзия, поэзия музыки, пения, стихов и цветов, которую до сентиментальности развивают в немецких девушках. Увидеть пятидесятилетнюю немку, вздыхающую при луне и декламирующую Шиллера так же легко, как встретить в Германии краснощёкую девушку Анхен, снимающую кожу с зарезанного поросёнка и украшающую тушу незабудками и розами, и эта поэзия, недоступная, смешная и для нас, служит им самообманом, скрашивающим жизнь. Статистика даёт печальный отчёт об общем уровне нравственности в Германии, но девушка в семье среднего интеллигента нравственна, проста и никуда из семьи не рвётся.

В Англии, где процент рождаемости девочек почти вдвое превышает мальчиков, заставляют девушек рано покидать семьи и брать места гувернанток, домашних, сельских или городских учительниц, идти в магазины и на фабрики. Нужда даёт им эмансипацию; всякое свободное искусство — как ваяние, живопись, литература и т.д. стоят очень высоко в общественном мнении, и все эти свободные профессии, за исключением сценической деятельности, пользуются большим почётом. Актрисы же, не исключая и

певиц, в силу аристократических предрассудков, составляют ещё в Англии как бы касту, допускаясь в общество, но не сливаясь с ним. К высшему образованию, к гражданским правам пока ещё английская девушка предъявила мало требований. В среде интеллигентной семьи у англичан чрезвычайно развито повиновение дочери и её уважение к тому, «что скажут»; недаром для малейшего отступления от общих правил у англичан есть особое слово: «choking», что нельзя перевести нашим «стыдно». Choking — это то, что оскорбляет, колеблет установленный порядок вещей.

Отношение дочери к матери в бедной семье тоже более нормальны. Дочь во всех домашних работах идёт рука об руку с матерью, замужество для неё не есть непременно условие, а потому в ней и более спокойствия и покорности; на своё пребывание в семье она смотрит не как на временное, но как на постоянное и нормальное положение.

В аристократии же или богатых семьях английская девушка не знает никаких обязанностей, кроме любви и уважения к родителям, всё стремится к тому, чтобы сделать её счастливой, она знает только игры, развивающие её физические силы, балы и театры, формирующие её красоту и грацию. Её детство и юношество проходит между братьями и товарищами-мальчиками не только в равноправных отношениях, но, благодаря английскому воспитанию, девушка всегда, за самым ничтожным исключением, выходит замуж; солидное приданное ей обеспечено, жениха, равного ей по имени, предоставит семья; так как она и сама не захочет мезальянса, то выбор её довольно ограничен. Выйдя замуж, она ни в чём не будет стеснена мужем, хотя обыкновенно политическая карьера мужа так дорога жене, что она охотно становится его товарищем, и своим тактом, умением очаровывать и принимать, вербует ему партию; сделавшись матерью, она, в свою очередь, заведёт роскошную *nurserie*, дипломированных бонн и гувернанток и предоставит им физическое развитие и дошкольное воспитание детей, а затем, держась к подрастающей дочери с той же равной ласковостью без интимности, уважая её права на пользование весёлой, роскошной жизнью, в пределах средств и имени, семья также озаботится приисканием ей подходящей партии. Возмущение дочери, желание самостоятельной дороги — реже всего встречается в английской аристократии.

Лучше ли, хуже ли русская девушка, но ни одно из вышеупомянутых положений не удовлетворило бы её. Широкие ли наши степи, прежняя ли кочевая жизнь лежит в основе её характера, только страдает она от всяких пут, от всякой попытки связать её волю. Едва рухнули наши терема, как девушка потребовала ученья. Давно ли открылись высшие курсы, а мы уже в среде нашей всюду встречаем девушек с дипломами, самостоятельно пробиваю-

щих себе дорогу. Давно ли перестал наш мужчина считать женщину хрупкой, прелестной игрушкой, а она уже стала ему равной и требующей права самой содержать и себя, и свою семью. В русской женщине есть та хорошая сторона, что она и в мужчине не хочет видеть раба — рабство противно ей во всякой форме — она ищет только равенства. Русская девушка обладает настойчивостью, трудолюбием, толковостью, обладает скромностью — не ломаной искусственной игрой в скромность, но нравственно сильной скромностью, заставляющей её много работать и мало говорить о себе. Русская девушка обладает драгоценнейшим даром отречения, т.е. умением свести до минимума свои потребности, она обладает здоровой гордостью не бросать намеченного пути. Вот почему за ней будет победа, вот почему на ней должно лежать благословение её народа.